

Лев Кожевников

ОЛИМПИА

главы
из романа

39



Лев Кожевников (1947) родился в г. Омутнинске Кировской области. Работал заведующим отделом сельского хозяйства в газете «Прикамская новь», корреспондентом газеты «Вечерняя Казань», инспектором русских театров в Министерстве культуры ТАССР. Окончил Кировский педагогический институт им. Ленина, Литературный институт им. Горького, Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. Луначарского. Член Союза писателей РФ и РТ, «Заслуженный деятель искусств РТ», лауреат всероссийских и республиканских литературных премий, автор книг для детей и взрослых. Пьесы Л. Кожевникова в разное время были поставлены во многих театрах страны, звучали по республиканскому радио, шли на телевидении

Наставник

Когда Асамон вошёл, Мегакл, наставник мальчика, стоял у окна спиной к двери. Его тёмный силуэт склонился над широкой дубовой столешницей. Она была обильно заставлена всевозможными сосудами, глиняными, закопчёнными плошками, кожаными мешочками, сшитыми собственноручно, где хранились у него семена растений, тут же, на стенах, висели пучки высушенных трав и свежие соцветия, собранные попутно. На полу у ног светилась угольями разогретая, бронзовая жаровня, и пахло жжёной костью. Мерцающая лампада из карпассийского горного волокна, негорающего в огне, давала необходимое освещение.

Мегакл оторвался от своего занятия и долгим, испытующим взглядом уставился на Асамона. Сияющая физиономия питомца, похоже, мало его удовлетворила. Он качнул огромной лохматой головой.

— Я вижу, твои сердечные дела идут на поправку?

Асамон рассмеялся в ответ счастливым коротким смехом и бросился на скрипнувшее под

ним дубовое ложе. Мегакл с лампадой в руке тяжело присел рядом к изголовью.

– Клянусь собакой, от твоих царапин и ссадин не осталось даже следа.

Он ощупал разбитую на дороге в схватке бровь, помял её. Затем оттянул ворот хитона на спине и, полюбовавшись на дело своих рук, довольно хмыкнул.

– Так оно и есть.

Асамон не отвечал. Голос наставника едва достигал сознания. Тысяча надежд, вспыхнувших в нём после встречи с фракиянкой, наполнили душу восторженным ликованием. Улыбка блуждала по его отсутствующему лицу, а в широко раскрытых глазах мерцали отражённым светом две сияющие лампы. Мегакл слегка похлопал мальчика по щекам, желая привести в чувство. Проворчал:

– Сейчас ты напоминаешь мне пьяного скифа, который нанюхался жжёной конопля, сидя под бычьей шкурой. Во всяком случае, рожи у них после этого точь-в-точь похожи на твою.

Асамон рассмеялся на его слова и отправился в угол выпить. Простая вода из глиняного килика показалась ему божественным нектаром и славно освежила пересохшее горло.

– Ах, Мегакл, ты, наверное, забыл, что значит любить! Или же не любил никогда. Баранья ляжка, хорошо пропечённая на углях – единственная радость, которая осталась у тебя в этой жизни. Клянусь, мне даже жаль тебя, бедняга Мегакл, – искренне, без ответной насмешки посочувствовал он.

– Да уж... баранью ляжку я не променяю ни на какую другую. Особенно,

если добавить к ней хойник доброго вина.

Асамон расхохотался и обнял наставника за широкий стан. Глаза его блестели лихорадочной весёлостью.

– Что с тобою, Мегакл? Ты так ворчишь, как будто недоволен мною? Но вчера, когда я был самым несчастным в подлунной из смертных, ты лез из кожи, чтобы развлечь меня и как-то утешить. Сегодня же, когда я счастлив, счастлив безумно, ты делаешь всё наоборот. Если бы я не знал тебя достаточно, я бы решил, что ты мелкий завистник, для которого чужие радости приносят горе, а чужие несчастья дают удовольствие лживо сострадать.

– Э, всё пустое. Вчера, да, ты был безумно несчастен, ты прав. И я тебе сочувствовал. Сегодня ты счастлив безумно, и это тоже сушая правда. Но результат, к сожалению, и вчера, и сегодня одинаков – ты безумен. И только. Завтра, я готов биться об заклад, ты вновь станешь безумно несчастным из всех. Боюсь, теперь уже навсегда.

– Но почему?! – вскричал Асамон, холодея, ибо уловил в словах наставника некий зловещий смысл.

– Запомни, – усмехнулся Мегакл и воткнул толстый, корявый палец Асамону в грудь, – красивые девушки – это добыча победителя, а не безумца с блуждающим взглядом и руками, трясущимися от любви.

– Добыча... красивые девушки! Ах, Мегакл, ты рассуждаешь сейчас, как наёмник, который привык брать всё насилием. Ты, верно, знать не знаешь всех прелестей взаимной любви. Нет, мы говорим с тобой о разных предметах.

Исторический роман Льва Кожевникова «Олимпия» в 1994 году занял 1-е место на Всероссийском литературном конкурсе, посвящённом 100-летию Международного олимпийского комитета России. В 2005-м за этот же роман автор был удостоен звания лауреата премии им. Г. Р. Державина. Но, несмотря на литературные победы, судьба произведения не совсем удачна. Публикация его в различных вариантах подверглась сокращениям. Сегодня мы публикуем полные главы романа.

Безмятежная улыбка вновь воцарилась у мальчика на щеках. Мегакл некоторое время с сомнением его рассматривал, затем обратился к привычному своему занятию. Однако оставленный разговор, казалось, не давал ему покоя. Поэтому спустя время он сердито проворчал:

– Я что-то плохо верю, мой друг, чтобы женщина полюбила мужчину за слабость. Особенно, если у неё имеется какой-никакой выбор.

Настойчивость, с которой наставник проводил одну и ту же мысль на разные лады, показалась Асамону, наконец, подозрительной. Он насторожился. К тому же, он вспомнил вдруг, что видел сегодня наставника в палестре, разговаривающим с Теллисом – как теперь выяснилось, отцом Хрисы. Тогда Асамону даже почудилось, будто речь между ними шла о нём.

– Мегакл, ты что-то недоговариваешь? В чём дело?

Наставник обернул к нему большое, обезображенное шрамом лицо. Усмехнулся.

– Мне показалось, ты начинаешь догадываться, в чём именно. Или я не прав?

Асамон дёрнул плечом, однако хмуρο осведомился:

– Теллис?

– Да. Но не просто Теллис. Он отец этой девушки. Одно из первых лиц в Спарте, от воли которого зависит судьба многих и многих людей. Лохаг, имя которого гремит далеко за пределами Эллады, повергая в ужас её врагов. Надеюсь, в своих притязаниях ты как-то учиываешь существование этого человека?

Асамон опустил голову.

– Я знаком с ним прежде. Но кто он, узнал только сегодня, – стыдись, выдавил он.

– От служанки?

Асамон кивнул, окончательно подавленный всеведением Мегакла. Он даже не стал спрашивать, откуда ему всё это известно, ибо не раз на подобный вопрос наставник отвечал так: «Если бы

при моём ремесле я не знал всего заранее, сегодня, возможно, меня не было бы в живых». Мегакл совершенно прав: и Хриса, и он сам, и их только-только определяющиеся отношения, которые иначе, как безумием, покамест не назовёшь – всё это всецело находится во власти одного человека, её отца, чья воля... вернее, своеволие, питается в этом деле одним недобрым чувством – враждой к Афинам.

Мегакл словно подслушал его мысли.

– Не считай, будто я осуждаю твою опрометчивость, – задумчиво произнёс он. – Вероятно, все влюблённые ведут себя именно так, и им кажется, что во всей подлунной они существуют одни друг для друга, и только их желания и интересы для них закон. Нет, мой мальчик, это великое заблуждение. Мы все, словно канатами, опутаны нашими отношениями. Если сегодня ты попираешь чьи-то интересы, то жди, что в скором времени будут попраны твои тоже. Немало любящих сердец было разбито об эту скалу.

– И что теперь? Что я должен делать?

– Что делать? – Мегакл хмыкнул. – Отличный вопрос. Я ждал его. Только не говори теперь, будто твой дядька вмешивается не в своё дело.

Но Асамон и без того молчал, не подымая головы.

– Подумай, какая причина может заставить Теллиса толкнуть свою дочь в объятия афинянина? Разве что сами боги вдруг лишат его разума! Однако у наших славных спартанцев есть одна слабость, на которой единственно мы можем сыграть. Более всего они ценят в человеке доблесть и силу. Это так. И тогда, мой мальчик, я отправился прямиком к Теллису, ты это видел. И предложил ему биться об заклад. Цена – победа. Твоя победа. Поверь, он оказался в безвыходном положении, поскольку в состязании принимает участие родной его сын. Отказ был бы равносителен признанию себя побеждённым ещё до начала боя. Он посмеялся, муд-

рый человек, однако вызов принял. Ибо это честная игра. Ты знаешь, в отличие от афинян, спартанцы слово держат. Теперь, как это ни странно, твоя судьба и судьба твоей возлюбленной всецело в твоих руках.

Поскольку Асамон по-прежнему молчал, глядя в пол, наставник продолжал:

– Завтра твоя прелестница явится вместе с отцом в палестру. Надеюсь, в случае поражения ты не станешь и далее притязать на её любовь и не поползёшь к ней на коленях, словно побитая собака, виляя хвостом и вымаливая свой жалкий кусок? Кстати... мой друг. Это всё тоже – прелести взаимной любви, как ты изволил верно заметить.

Асамон поднял на наставника чёрные, немигающие глаза, и тот вдруг впервые почувствовал себя стоящим на самом краю ужасного провала с kloкочущей далеко внизу огненной лавой. Они долго смотрели так друг на друга в упор. Наконец, Асамон чужим, охрипшим голосом проговорил:

– Мне кажется, ты спешишь, Мегакл, рассуждая до времени о побитой собаке.

Наставник согласно кивнул.

– Это я и хотел услышать от тебя.

Он долил масла в закоптившую лампаду и вновь склонился над столом, приготавливая на завтра мало кому известное средство для укрепления сил – от голода и жажды. Он составлял его в тщательно отмеренных долях из макового семени и сезама, оболочки морского лука, отмытого добела и очищающего заразу, из цветов асфоделя, листьев мальвы, ячменя и гороха, истёртых в муку и разведённых в гимметском меду, а также сочного винограда с вынутыми косточками, кориандрового цвета и тёртого козьего сыра, слегка тронутого плесенью, – всё это он развёл в молочных сливках до густой и тягучей душистой смеси. За ночь она сама собой затвердеет и сохранит целющие и укрепляющие свойства на долгие годы.

По преданию, этому составу научила Геракла могущественная Деметра, когда он был послан бесчестным Эврисфеем в безводную Ливию.

Панкратий

Искусство рукопашного боя, иначе панкратий, был заимствован элейцами в тридцать третью олимпиаду из боевой подготовки эфевов. То есть, как и все другие состязания, своим происхождением панкратий прежде всего обязан был войне.

В Спарте среди законов, касающихся основных сторон государственного устройства, имелись даже особые законодательные установления относительно панкратия. Настолько серьёзное придавалось этому значению. В самом городе, неподалёку от святилища героя Алкона и храма Посейдона Домашнего, на берегу реки Эврот, есть местность – так называемая Платаниста, или Платановая аллея – из-за густо растущих здесь огромных платанов. Всё это место ещё со времён Ликурга было назначено для упражнения эфевов в рукопашных боях. С трёх сторон оно обведено широким рвом, до краёв полным воды, так что напоминает собою морской остров, расположенный близ материковой суши.

Накануне, в полночный час, все юноши, достигшие возраста эфеба, сбегаются на дромос неподалёку от главной городской площади. Здесь с помощью жребия они разделяются на два больших отряда, каждый со своим военачальником, которого избирают сами из числа товарищей. Затем с пылающими факелами над головой они бегут по улицам спящего города и покидают пределы, устремляясь в Фойбею, местечко, отстоящее на несколько десятков стадий от города. Тут, в храме Диоскуров, на жертвеннике богу войны Эниалию оба отряда приносят в жертву молодого щенка. Они полагают при этом, что для самого мужественного и жесто-

косердного из богов приятной жертвой будет самое мужественное из домашних животных.

Совершив жертвоприношение, эфебы с воплями и смехом втаскивают два огромных плетёных короба и, отбросив крышки, выпускают в круг двух диких кабанов, заранее отобранных и откормленных ради свирепости сырым мясом. Подпаливая им щетину и подкалывая ножами, отсекая хвосты, кабанов доводят до бешеного исступления прежде, чем стравить их друг с другом. Но вот бой начинается, и уже шерсть летит в разные стороны грязными, бурыми клочьями, а земля покрывается пятнами крови, пока один из них насмерть не запрет другого своими страшными лыками.

Та сторона, чей кабан считается победившим, полагает это добрым предзнаменованием для себя. И редко ошибается.

На следующий день, незадолго до полудня, оба отряда по двум мостам с разных сторон проходят на Платанисту. Перед входом на мост с одной стороны поставлена статуя Геракла, и отряд, который миновал этот мост, носит теперь имя этого героя. Перед входом на другой мост точно так же расположена статуя Ликурга, учредителя этих боёв, и другой из отрядов, пройдя через мост, выступает с этого момента под его именем.

Пять педотрибов переходят вслед за отрядами с суши на Платанисту. Они занимают на острове выгодные места, позволяющие каждому обозреть свою часть местности. Но противоборствующие стороны до времени одна другую не видят и даже не знают, где какая из них находится.

Вскоре звучит труба, давая знак к началу боевых действий. И схватка начинается. Главное оружие теперь – это искусство рукопашного боя, отработанное веками, а, кроме того, слаженность и чёткость совместных действий, умение слышать команду и подчиняться ей, сохранять холодную голову и умение думать за себя и за всех сразу. Это не

потешные бои. Здесь разбивают головы, ломают руки, ноги, выбивают глаза и зубы. Наконец, победители загоняют побеждённых в Эврот, а те, спасаясь бегством, плывут на другую сторону. Или сбрасывают избитых в ров, наполненный водой, и выбраться на другой берег, высокий и глинистый, можно только под смех и улюлюканье окружающей публики.

Сражение считается законченным, когда последний враг будет выбит с территории острова. Наиболее отличившихся из панкратиастов, кто достиг двадцатилетнего возраста, после таких боёв торжественно посвящают в сфереи – в число взрослых воинов-мужей. Сфереи приносят затем благодарственные жертвы на алтаре подле старинной статуи Геракла; так установлено ретрами Ликурга.

Не одни спартанцы обязаны были владеть навыками рукопашного боя. Не менее старательно пестовали свою молодёжь великие Афины, и каждый юноша, когда он достигал восемнадцатилетнего возраста, обязан был пройти двухлетнюю военную подготовку в крепости Мунихион, поблизости от Афин, в учебном гарнизоне. Здесь юношей обучали владеть в совершенстве всеми видами оружия, а равно и навыкам рукопашного боя.

После тридцать третьей олимпиады среди всех олимпийских состязаний панкратий занял достойнейшее место, сравнимое по популярности только с кулачным боем, и навыкам рукопашного боя стали обучать даже детей.

Поединки

...Для состязания мальчиков в единоборствах Совет Олимпии назначил местом проведения одну из малых палестр неподалёку от южной стены большого олимпийского гимнасия. Зрительские места опоясывали скамью по периметру и отделились от неё невысокой каменной балюстрадой. Изящный

портик шириной около десяти локтей окружал внутренний двор, отделяя его от служебных помещений и мест отдыха. По обе стороны у главных выходов курились алтари, распространяя запах фимиама.

Юные атлеты в сопровождении суровых педотрибов и музыкантов в ярких одеждах, окружённые строем чернокожих огромных рабов, медленно вступили на раскалённый, зноем выбеленный песок. Грохот медных тимпанов и пение флейт мешались с рукоплесканиями и приветственными возгласами из публики. Совершив круг почёта, они развернулись и встали в центре.

Асамон, едва ступив на скамму, почувствовал вдруг среди многочисленных зрителей присутствие Хрисы. Даже не поворачивая головы, он мог указать безошибочно её место на западной стене, в углу. Оттуда, ему казалось, исходит на него мягкое, тёплое свечение подобно тому, как всё живое в подлунной, даже не обладая зрением, ощущает перемещение солнца по небесному куполу, благодаря живительному воздействию его лучей. Но он не взглянул в сторону Хрисы ни разу, понимая, что договор, заключённый Мегаклом у него за спиной, лишил его права даже на случайный взгляд, который теперь мог выглядеть как унижительная и незаслуженная подачка. В её глазах тоже. Хитромудрый Мегакл сжёг все мосты, безжалостно, как истый наёмник. Теперь в случае поражения Асамон становился навсегда заложником собственного слова. Но стоит ему это слово нарушить, он уподобится той самой побитой собаке, которая, «виновато виляя хвостом и ползая на брюхе, вымаливает свой жалкий кусок».

Асамон даже застонал сквозь стиснутые зубы, ярко представляя себе подобный исход. Теперь, когда его отношения с Хрисой стали в какой-то мере определяться, когда он почти уверился, что она тоже ищет с ним встречи, поражение представлялось ему равносильным смерти.

Разумеется, и прежде у него не было

намерения проигрывать. Но ставка в игре оказалась вдруг настолько огромна, что сама игра в его глазах перестала быть игрою.

Напутственная речь, обращённая к юным олимпийцам, едва достигала его сознания. Но когда началась жеребьёвка, Асамон очнулся. Вслед за другими с отрешённым видом он погрузил правую руку по локоть в серебряный сосуд. На дне он нащупал первый попавший жетон и, как предписывалось правилами, не глядя, передал педотрибу. Затем писец острым стилем начертал на воске против его имени букву жребия, означенную на жетоне, и торжественная церемония на этом для Асамона завершилась.

Страх поражения и жажда победы, по сути равнозначные в его глазах жизни и смерти, неожиданно выбили Асамона из состояния душевного равновесия. И результаты не замедлили сказаться...

В первом бою против Даимена из Лидии он действовал, себя не сознавая, как если бы тело не принадлежало ему вовсе. Он наносил удары, но не чувствовал ни рук ни ног. Пропускал сильные удары в ответ и тоже их не чувствовал, не ощущал спасительной боли. Обременённое тяжким грузом, сумеречное сознание, скованное напроць страхом поражения, предавало его тело, его дух, жаждавший победы, и лишь одна скудная, жалкая мысль с назойливым упорством держалась в голове во всё время поединка – быть осторожным, не допустить роковой ошибки, промаха. Не проиграть! И была бесплодна, ибо сознание существовало отдельно и не ведало, что творит тело.

Внешне действия юного афинянина выглядели сумбурной и яростной атакой, лишённой начисто какого-либо расчёта, а расчёты соперника и вовсе во внимание не принимались. Попросту он не был способен их предвидеть.

Даимен, сын Комета из Лидии, рослый и вдумчивый атлет, казался несколько обескураженным подобной ма-

нерой боя. Он знал афинянина десять месяцев, знал все его излюбленные приёмы, удары, коварные импровизации, на которые был способен из всех, пожалуй, один он. Даже накануне, словно предчувствуя, что жребий сведёт их с афинянином на скамье, наставник Даимена со тщанием продумал вместе с ним тактику предстоящего боя.

И вдруг всё пошло прахом.

Опыт Даимена из Лидии оказался слишком невелик, чтобы суметь распознать вовремя состояние соперника и воспользоваться его слабостью. Он же растерялся и принял слабость за силу. Кроме того, тактика, внушённая наставником, превратилась в шоры на его глазах, и – беспорядочный, но сокрушительный удар ногой в живот вскоре прочно уложил злополучного Даимена на песок.

Они не понравились публике. Ни тот, ни другой. Асамон понял это по жидким рукоплесканиям, которые доносились с мест, где сидели афиняне. Мегакл тоже выглядел недовольным. Набросив на питомца гиматий, он с сарказмом в голосе проворчал:

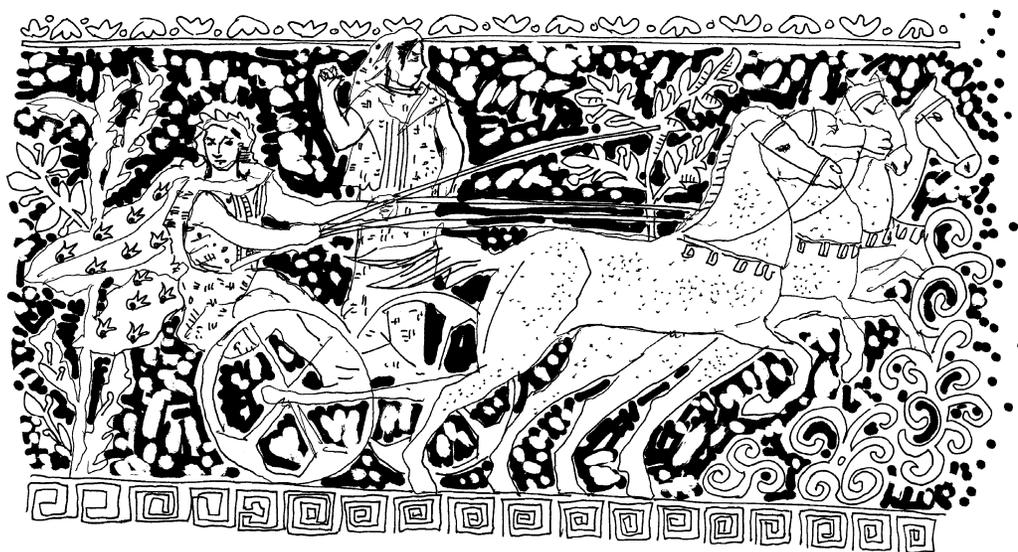
– Будем считать, что эта победа свалилась на тебя прямо с небес. Судя по тому, как это всё было bestолково

обставлено, тебя, мой друг, опекает сама Афродита, не иначе.

По отсутствующему взгляду мальчика он, однако, понял, что слова не доходят до его сознания. Похоже, избранное средство оказалось слишком сильным, какая-то мера допустимого была перейдена. А всё потому, что оба они одним и тем же вещам придают слишком разную цену.

Второй поединок Асамона против упорного Автолика, сына Филипа из Лепреи, мало что изменил в его манере. Правда, соперник на сей раз уже не заблуждался и принимал афинянина таким, каков он есть, с самого начала. И избивение началось – расчётливое, искусное, беспощадное избивение пусть яростного, но лишённого разума и, следовательно, беззащитного человека. С таким же точно успехом против изощрённого в схватках панкратиаста можно поставить на скамью необученного рукопашному бою раба, лишь бы тот размахивал кулаками и яростно лягался.

Казалось, конец предрешён. Но жестокая трёпка неожиданно возымела на Асамона действие. Себе на беду Автлик из Лепреи беспощадными, сокрушительными ударами сумел-таки «достучаться» до сумеречного, парализован-



ного сознания соперника. И заставил его очнуться. Опечаленный вконец Мегакл отметил это немедленно по осмысленному выражению лица питомца с жёсткими, бешено сверкающими глазами.

Сокрушительные удары Автолика пошли вдруг в воздух, в блок, снова в воздух. И ни разу в цель. И он, уже предвкушавший близкую и такую желанную победу, не успел до конца осознать неожиданно изменившуюся манеру боя соперника и не успел примениться к ней. Участь Даимена из Лидии постигла его незамедлительно – ужасный удар ногой в живот свалил его на песок.

На сей раз Асамон покидал скамму при недоумённом молчании всей публики, не исключая афинян. Его беспомощность в глазах зрителей была очевидна, и подобный исход поединков казался необъяснимым. В состязаниях юных панкратиастов весьма редки удары, после которых побеждённый остаётся лежать на песке. Однако Даимена из Лидии и Автолика из Лепреи уносили со скаммы на руках, и этот факт тоже не находил здравого объяснения. Даже Мегакл не удержался и хмыкнул по этому поводу:

– Ты обходишься со своими соперниками, точно Кокал из Сиракуз. Тебе не кажется?

Асамон не принял шутку. Вместо этого он хмуро осведомился:

– Где отец?

– Ты спрашиваешь об этом меня? Если бы не он, а я платил ему деньги, он, клянусь, сидел бы сейчас здесь, – проворчал наставник, ловко обрабатывая на питомце ссадины и кровоподтёки. – Но уж, коли его нет, утешайся, мой друг, приятной мыслью, что твоё наследство в это время исправно прирастает. Худо-бедно, но Дамасия я знаю. Он сейчас там, где пахнет хорошим барышом. И если он там даже сегодня, в такой день, стало быть, барыш даже слишком хорош, и упустить его никак нельзя. Но ты не должен за это держать на отца обиду. Себя самого он давно считает человеком богатым. Даже очень богатым. Правда, не настолько,

чтобы считать богатым наследником тебя. А это, поверь, что-то да значит.

Рассуждая таким образом, Мегакл с опаской взглядывал Асамону в лицо, но ничего подозрительного к своему удовольствию более не обнаруживал.

Совет Олимпии, устраивая состязания мальчиков, оказывал для них некоторые снисхождения в правилах. В отличие от эфебов и взрослых атлетов, их наставники имели право находиться во время состязаний рядом со своими питомцами и оказывали им всяческую помощь и попечение. Юные атлеты пользовались несколько большей, чем обычно, свободой. Многие, кто хотел, помещались вместе с наставниками, с рабами, с необходимым скарбом прямо среди зрителей, и это нередко придало им силы.

Две пары юных панкратиастов вели схватку в разных концах скаммы. Но одна из пар в дальнем от него углу вызвала у Асамона особенный интерес. На сей раз жребий свёл в поединке двух опасных бойцов. Упорного, словно скала, Бибона из города Димы и спартанца Селеада, друга Тисамена.

Зрители, разделившись на две половины, бурно сочувствовали тому и другому. Но вскоре стало ясно, что после этого поединка ни Бибон, ни Селеад будут не в силах выйти на скамму хотя бы ещё раз. Оба атлета едва передвигали онемевшие от усталости члены. Любая попытка нанести удар заканчивалась безрезультатно. Обессиленные руки были не способны причинить сопернику сколько-нибудь вреда. Часто сам ударивший, теряя равновесие от собственного замаха, валился на соперника, повисая на нём камнем. Оба падали, беспомощные, расплзались в разные стороны, но с упорством одержимых, шатаясь, вновь и вновь подымались на ноги и шли в атаку. Наконец, спартанец в падении сумел накрыть противника телом и навалиться на него всей тяжестью. Бибон из Димы, оказавшийся внизу, для которого собственный вес уже был непомерным грузом, сделал несколько слабых попыток свалить

с себя неподвижное тело. Но сил не стало даже на это. И он затих.

Это была тяжёлая победа. Асамон видел, если Селеад соберётся с силами и выйдет на скамму ещё раз, то затем только, чтобы проиграть окончательно. И не слишком красиво.

Состязания юных панкратиастов продолжались, когда глашатай возвестил имена очередной пары бойцов:

– Гнафон, сын Полидамаса из Ликосура! Против Асамона, сына Дамасия из Афин!

От неожиданности Асамон растерялся. Почему-то ему даже в голову не приходило видеть в Гнафоне соперника. Мегакл, глядя на его округлившиеся, изумлённые глаза, развеселился.

– Всё верно, мой мальчик. Жребий не разбирает, кто друг, а кто тебе враг. В жизни бывает ещё хуже. Самые опасные враги случаются как раз из числа самых близких друзей. И ты не всегда об этом даже узнаешь. – Он похлопал его по плечу и слегка подтолкнул. – Ступай. И остерегайся, как бы твой друг не вкатил тебе добрую оплеуху, после которой ты не сможешь встать.

– Из твоих слов, – огрызнулся Асамон, – сразу видно, что друзей у тебя было слишком много.

– Увы, никто не знает, сколько у него друзей на самом деле. Зато сколько в кошаре овец, тебе скажет всякий. А всё потому, мой друг, что друзья нынче не в цене, и ты сейчас сам в этом убедишься, – поддразнивал Мегакл, провозжая питомца на скамму.

С противоположной стороны одновременно с ним появился атлет из Ликосура. Посреди скаммы юные бойцы сошлись для приветствия. Асамон, коснувшись приятеля рукой, мрачно обронил:

– Забудь, кто я.

– Уже забыл, – последовал ответ, и по жёсткому прищурю глаз, по усмешке юный афинянин понял, что это действительно так.

Им и прежде в учебных схватках приходилось встречаться в паре друг против друга. Но то была скорее игра,

настолько игра, что они смогли даже подружиться. Теперь между ними стояло слишком многое, чтобы Асамон мог считать предстоящую схватку по-прежнему игрою.

Под звуки флейты оба панкратиаста, хищно пригнувшись, начали подвигаться друг другу навстречу. Внезапно, словно камень, пущенный из пращи, ликосурец бросился на Асамона. Прыжок – удар пяткой в грудь. Ещё прыжок – и снова удар. Ногой... рукой... снова ногой! Асамон был ошеломлён подобной яростью, и даже мелькнула слабая мысль, что есть расчёт именно на дружеские чувства, на его растерянность, неизбежную поначалу. Если это было действительно так, то расчёт вполне удался. Афинянин с трудом уходил от ударов. Упал и, катаясь на спине, едва успевал увернуться от одного, как пропускал другой. Вскочил, перехватил удар на ступню, но организовать встречную атаку ему никак не удавалось – бешеный натиск Гнафона сковывал его по рукам и ногам.

Асамон знал приятеля достаточно: тот был весьма неуравновешен по натуре, и приступы внезапной, бурной деятельности вдруг необъяснимо сменялись в нём ленивой и тупой созерцательностью при полном упадке душевных сил. Но сегодня Гнафон выглядел великолепно и был опасен своей изощрённой непредсказуемостью. Две победы в предыдущих поединках говорили об этом лучше всего.

Во время одного из ударов Асамону удалось всё же перехватить запястье приятеля, и он сильным рывком на себя вывел его из равновесия, подставив на ходу бедро. Ликосурец, взлетев в воздух, оказался на песке. Но Асамон не стал ввязываться в борьбу с полным сил соперником. Такие положения всегда чреватые самыми неожиданными и опасными ударами, а рисковать он не хотел.

Публика расценила этот шаг не в его пользу. Послышались насмешливые реплики, свист, а кто-то ловкий даже запустил в него огрызком яблока, уго-

див в плечо, и вызвал тем смех. Но на скамме всё шло по-прежнему: ликосурец стремительно напал, и афинянин, как в первых двух поединках, едва успевал защищаться. Казалось, он не мог ничего противопоставить, хотя многие помнили, чем эти поединки закончились, несмотря на малопривлекательную манеру боя. Вскоре все голоса смолкли. Появилось ощущение, будто при всём напоре и стремительности атака ликосульца выглядит беспомощней умелой защиты соперника. Но вновь раз за разом Гнафон из Ликосура нанёс два чувствительных удара по туловищу, в голову и продолжал наступать. Зрители, недовольные бездействием афинянина, принялись улюлюкать.

И вдруг... молниеносный удар. В подбородок. Мало даже кто заметил. Словно наткнувшись на препятствие, Гнафон из Ликосура чуть качнулся назад, лицо его безвольно обмякло, зрачки покатались вверх, под веки. На подгибающихся, ватных ногах он сделал ещё два слабых шажка вперёд и разом, как бы сломавшись, рухнул на колени, уставив незрячее лицо в небо.

Поединок был закончен.

В третий раз юный афинянин покидал скамму при всеобщем молчании обескураженной публики. Только что многие улюлюкали и осыпали его насмешками, веселились, когда огрызок яблока ударил афинянина в плечо, и вдруг приходится признавать свои заблуждения, вместо хулы воздать гонимому хвалою – на этот нелёгкий шаг необходимо время и известная доля мужества. Публика стыдливо молчала.

Мегакл, единственный, прямо от барьера подхватил питомца в охапку и, радостно похахатывая, в три прыжка вознёс победителя на место, изрядно помяв его.

На каменной скамье, поверх небрежно брошенного гиматия, Асамон наткнулся глазами на кроваво-красную крупную розу с ещё не раскрывшимся до конца бутонем. Равнодушным жестом наставник смахнул цветок на пол и усадил Асамона на скамью, крепко тис-

нув его ещё раз в могучих объятиях. В возбуждении Асамон тотчас забыл о цветке. Впереди его ждал бой победителей. С Тисаменом, братом Хрисы. Все другие соперники из дальнейшей борьбы постепенно выбыли. Из них последним оставался Гнафон из Ликосура. Теперь он уходил со скаммы, опираясь на плечо педотриба, с низко опущенной головой.

Неизбежность поединка с Тисаменом юный афинянин ощущал в себе постоянно. Так муравьи предощущают грядущую, жестокую засуху и голод и с особым прилежанием пополняют свои кладовые зёрнами полевых злаков. Это противостояние определилось между ними ещё в Элиде, не по вине Асамона. И когда их однажды поставили в пару друг против друга, учебная схватка в мгновение ока превратилась в ужасное побоище. После оба были жестоко высечены в назидание всем, но в пару их ни разу с тех пор не ставили.

Мегакл, бывший свидетелем побоища, спустя время то ли в шутку, то ли всерьёз заметил: «Судя по вашему любезному обращению друг с другом, война Афин со Спартой в скором будущем вполне предрешена. Для этого нет нужды быть пророком».

С появлением Хрисы беспричинная, казалось бы, неприязнь между ними обрела, наконец, почву.

Асамон ждал поединка с нетерпением. Для него это была единственная возможность одолеть спесивую гордость спартанцев по отношению к себе. Он должен сокрушить Тисамена, лучшего из них, излюбленным оружием самих спартанцев. На глазах у всех. Другого выхода нет, Мегакл тысячу раз был прав, лишая его выбора. Или пусть его, Асамона, вынесут со скаммы мёртвым эти неподвижные рабы-нубийцы с безжизненными, тупыми физиономиями.

По обыкновению участникам боя победителей давалось какое угодно время, чтобы подготовить себя к поединку. Но на сей раз ни один из со-

перников не захотел использовать это право.

Мегакл, провожая Асамона на скамью, неторопливо наставлял:

– У твоего соперника, мой друг, есть одно достоинство, которое следует превратить в недостаток. Он думает прежде, чем сделать. А ты делаешь прежде, чем подумать. Поэтому не давай ему думать, наступай. Ни одной паузы на размышление. И тогда собственный недостаток ты обратишь в достоинство. Да помогут тебе боги, – пробормотал он вслед, тяжело опираясь руками на горячий камень балюстрады.

Грациозная, гибкая фигура мальчика, словно отлитая из бронзы, застыла посреди скамьи с поднятой вверх правой рукой.

– Асамон, сын Дамасия из Афин! Против Тисамена, сына Теллиса из Спарты! – прокричал глашатай и, отирая покрытый каплями пота коричневым лоб, поспешно убрался в тень.

Тисамен вместо приветствия слегка ударил афинянина кулаком в плечо и повернулся в свой угол, даже не удостоив взглядом. Это был рослый, широкий в кости атлет, несмотря на свой юный возраст, и в будущем обещал превратиться в такого же гиганта, каким выглядел отец. Хотя при несомненной телесной силе это обстоятельство сообщало его движениям некоторую медлительность. Её имел в виду Мегакл, давая свои наставления. Но Асамон, преисполненный неприязни к спартанцу, на сей раз с ним не согласился.

– Медлить ещё не значит думать, – сквозь зубы обронил он.

После взмаха пальмовой ветвью панкратиасты начали сходить, пожирая друг друга глазами. У каждого в юной крови злой удачью вскипала застарелая вражда и соперничество двух великих городов. словно чума или чёрная оспа, они заражали всякое новое поколение, и болезнь то обострялась, то перетекала в некие скрытые формы перед лицом более страшной внешней заразы и там затаивалась до поры, выжидая повод или новое обстоятель-

ство, чтобы обнаружить всем свою безобразную личину.

Асамон после первых же ударов почувствовал грозную силу соперника. Это был не Гнафон из Ликосура, изощрённый и затейливый, но всего лишь шалопай в панкратии. Для спартанца панкратий от молодых ногтей являлся образом мысли и образом жизни, как это подобает отпрыску из рода потомственных воинов. Его кулаки казались отлитыми из железа, а в обороне он был цепок и предусмотрителен. Несомненно, Тисамен вскоре тоже почувствовал своё превосходство над афинянином, и жёсткая складка губ обрела выражение снисходительной усмешки. Но одной победы ему было явно недостаточно, и Асамон понял, что заговор, о котором его известила ночью фракиянка, вовсе не пустая угроза. Он дважды перехватил коварные удары Тисамена ногой в низ живота – один раз на стопу, другой на скрещённые предплечья, и едва уклонился от удара расслабленной кистью по глазам, способного превратить человека в беспомощного слепца.

Зрители возбуждённо загудели.

Но педотриб, видя всё, безмолвствовал. Он не имел права вмешиваться в поединок, поскольку подсудным здесь является только результат, а не намерение, которое могло быть попросту ложным манёвром, весьма распространённым, когда один из соперников желал нагнать на другого поболее страху. Впрочем, в панкратии допускались любые удары в любое убойное место. Не дозволялось колоть растопыренными пальцами в глаза и рвать рот, зацепив скрюченными пальцами губы соперника. В остальном ничего предосудительного не усматривалось, хотя до увечий, конечно же, старались не допускать сами педотрибы.

Асамон молниеносным ударом в губы вдребезги разбил снисходительную усмешку, но это был, пожалуй, единственный его ощутимый успех.

Запас приёмов и ударов, способных изуродовать человека, был у Тисамена, казалось, неисчерпаем. Он едва не

вывел ему из сустава ногу, ударив пяткой в расслабленное колено. Выламывал пальцы рук. Его кулаки проходили впритирку возле висков, обдирая и отрывая уши, и кровь уже обильно струилась из надорванной мочки, перемазав плечо и шею...

Афинский купец Дамасий, опираясь одной рукой на раба и обливаясь потом, направлялся в палестру. Чувство тревоги, похожее на внезапный испуг, заставило его бросить все неотложные дела в лавке и едва не вприпрыжку поспешить сюда. Он задержался несколько возле ниши с фонтанчиком у самого входа и с наслаждением подставил разгорячённое лицо под хрустальную, сверкающую струю. Кое-как перевёл дух.

Заключительная схватка победитель только начиналась, но картина, представшая его взорам, повергла Дамасия в ужас. Асамон, его дорогой мальчик, был весь в крови и выглядел много слабее своего рослого соперника из Спарты. Тяжёлые, словно камни, удары с неумолимой жестокостью один за другим потрясали его тело. Он на глазах слабел и не всякий раз успевал прикрываться. Редкие и вялые ответные удары, хотя и достигали цели, но лишь раздражали спартанца. Зверея от вида и запаха крови, слабости соперника, боец из Спарты добивал по сути уже беспомощную жертву.

На противоположной стороне палестры Дамасий вдруг выхватил глазами наставника, грузно навалившегося на барьер. На угрюмом лице Мегакла он тотчас отметил печать полной растерянности, словно в подтверждение увиденному, и слёзы хлынули у него из глаз.

– О, мой мальчик! Мой мальчик! Только не это... Милостивые боги, не оставьте чадо моё. Все его грехи – это мои грехи, меня накажите!

И вдруг – удар. Прямо в лицо. Асамон без чувств рухнул на песок. Атлет из Спарты навис над ним, готовый, едва заметив признаки жизни, добить, вырвать из глотки последний вздох. Довольная улыбка уже скользнула по его губам. Афинянин не продержался и де-

сятой доли того, что он ожидал. Это был самый короткий поединок.

Дамасий трясущимися руками закрыл лицо. Ужасное зрелище было невыносимо для отца и исторгло из груди тяжкий стон. Вероятно, Дамасий не устоял бы на ослабевших разом ногах, когда бы раб не подхватил вовремя своего господина.

Тисамен, сын Теллиса из Спарты, поднял глаза, желая увидеть, прочесть на возбуждённых зрелищем лицах свою победу. И в этот момент Асамон кошкой метнулся с земли к нему на грудь. Ногами обхватил поперёк пояса, и шея спартанца, словно в сработавший волчий капкан, угодила в мёртвый захват между предплечьями. Некоторое время ещё, шатаясь, спартанец держался на ногах, яростно срывая ногтями кожу на спине и боках своего врага, оставляя кровавые следы, хватался за волосы. Но захрипел вдруг и рухнул как подрубленный, вместе с седоком, изгибаясь и взрывая слабеющими, судорожными ногами фонтаны песка. Педотриб с грозным криком бросился к сцепившемуся клубку, но только с помощью стражников с величайшим трудом ему удалось отодрать Асамона от поверженного, полузадушенного тела.

Дамасий сидел на скамье, оглушённый, уронив голову на грудь. Он не видел вокруг себя ничего и не соображал, поэтому его помрачённый рассудок не тотчас поверил, когда спустя время глашатай громогласно возвестил:

– Асамон, сын Дамасия! Из Афин! Победил всех в панкратии!

Трапеза

Вечернее солнце жидким золотом залило порталную арку северо-западного входа в Альтис и превратило площадь перед Пританеем в роскошное золотое блюдо. Дамасий в златотканом персидском халате, заброшенном поверх льняного хитона, встречал на ступенях Пританея званых гостей. Они под-

ходили по одному, реже по два и тотчас попадали в дружеские объятия радужного хозяина.

– Ах, как я рад, любезнейший мой Ямвлих, что ты не пожалел своего драгоценного времени и удостоил нас присутствием. Умные, благовоспитанные люди нынче так редки. Очень, очень редки! А когда это к тому же твой старинный друг...

Учтивые речи душистой миррой вливались в уши любезного гостя и услаждали сердце. Круглолицый, дородный Ямвлих с Лесбоса, торговец вином, довольно похаживал и трепал большой, мягкой рукой Дамасия по плечу.

– Это сколько же, почтенный, мы с тобой не виделись? Должно быть, с самого потопа? Ха-ха-ха! Ужасно рад тоже. Клянусь Дионисом!

Придерживая гостя под локоток и не переставая нашёптывать, Дамасий провожал его галереями и переходами в отведённые покои и, извинясь, что принуждён оставить на короткое время, спешил назад встретить следующего.

Едва гость, снявши обувь, переступал порог, его встречали две красивые рабыни. Они обмывали гостю ноги и подносили серебряную чашу с водой, чтобы он мог ополоснуть перед трапезой руки и насухо вытереть узорчатой мягкой тканью. Затем рабыни препоручали гостя благообразному рабу-сирийцу с коричневым, полированным черепом и остатками седых волос за ушами. Сириец с низким поклоном вручал каждому гостю от имени хозяина золотое нагрудное украшение стоимостью, должно быть, в пять золотых дариков и венчал его достойную голову роскошным венком из свежих, благоуханных цветов. Затем по знаку сирийца один из четырёх рабов, стоящих в углу залы, подносил гостю серебряный фиал, наполнив его прежде вином, и блюдо с фруктами и с поклоном пятился в свой угол, предоставляя, наконец, гостя самому себе и давая время оглядеться.

Зала была обычной – с очагом в углу, с полами, покрытыми мозаичной работой, с потолочной сырой росписью,

где изображались сцены из жизни небожителей, и по краям затейливые арабски оформляли их. Были повешены тут и расстелены чудные персидские ковры толщиной, должно быть, в пластину свежесрезанного дёрна, завеси и драпировка из расшитых узорами, свободно висящих тканей, картины в роскошных рамах и прочая подобная безделица, приобретаемая для услады души и отдохновения от трудов.

Откуда-то, словно издалека, но явно слышимая, звенела сладкозвучная арфа.

Когда все гости собрались, и зала наполнилась оживлённым гулом, Дамасий каждому предложил занять его ложе, а рабы вновь наполнили серебряные фиалы вином. Тогда поднялся со своего места громогласный и красноречивый Феспид, хлеботорговец из Афин, и с заговорщическим видом, подморгнув всем, обратился к Дамасию:

– Гей, Дамасий! Я знаю тебя, ты знаешь меня. Ещё с детства. Ведь мы с ним, не глядите, что он с виду такой старый, мы с ним ровесники. Да, да! Его отец, досточтимый Эвкл, раз, а то и два на день обязательно рвал мне уши за проделки Дамасия. Только взгляните, какие они у меня теперь большие. Как у слона. А мой отец, досточтимый Лекрит, за мои проделки рвал уши бедняге Дамасию, и он поэтому до сих пор плохо слышит. Когда ему это, скажем, не слишком выгодно. – Оратор переждал смех и вкрадчивым голосом продолжал: – Как вы все понимаете, мы оба постоянно чувствовали себя незаслуженно оскорблёнными, ибо каждый из нас терпел наказание, увы, за другого. И страдания нас сблизили окончательно. С тех пор моя с ним дружба только крепла год от году, и поверьте мне, мои дорогие друзья, о гостеприимстве и радушии почтенного Дамасия я знаю не понаслышке. Я частый гость в его доме, и поэтому сейчас мне весьма больно видеть, что два ложа по левую руку моего хлебосольного друга остаются пустыми. Скажи же, Дамасий, – голос оратора загремел праведным апофео-

зом и вдруг упал скорбно. – Ответь нам всем, кто такие эти люди, кого ты пригласил преломить с тобою кусок хлеба, а они столь легкомысленно пренебрегли твоим гостеприимством? Мы все, здесь сидящие, желаем знать их имена.

– Да, да! Мы желаем!

– Ответь, Дамасий? Кто такие? – поддержали Феспида гости.

Дамасий поднял руку, успокаивая всех, и с загадочным видом удалился. Вдруг грянула музыка. Пурпуровые занавесы важно разъехались в стороны, и счастливый отец ввел, подталкивая впереди себя, смущённого и улыбающегося в сторону Асамона.

– Асамон! Сын моего друга Дамасия! Его законный и единственный наследник. Победил всех в панкратии! Слава, слава, ещё раз слава тебе, доблестный юноша!

Гости дружно подхватили здравицу. Юного олимпийщика под пение «Тенеллы...» усадили подле отца по левую руку и увенчали почётным лавром, а Дамасий представил гостям Гнафона из славного города Ликосура.

– Они такие же друзья с моим сыном, как мы с уважаемым Феспидом. И со всеми вами, разумеется, тоже, – пояснил Дамасий. – Если бы сегодня наш юный друг из Ликосура не уступил любезно свою победу, то олимпийщиком, разумеется, был бы он.

Гости выпили вина в честь победителя, и щедрый хозяин дал в дар каждому по серебряному фиалу, из которого оно было выпито. И велел подать другие из золота. И еду.

Рабы тотчас внесли на медных блюдах коринфской работы одинаковые караваи хлеба, а также птицу – жареных уток, индеек, гусей и множество другой румяной снеди, нагромождённой в изобилии. Каждый взял кушанье, какое хотел, и передал блюдо стоящему сзади рабу. Но разнообразные яства появлялись одно за другим, и вот уже двое рабов, напрягаясь под тяжестью, внесли, ухвативши с двух сторон, огромное серебряное блюдо, на котором ле-

жал пышный белый хлеб и разная лесная и полевая дичь – дикие гуси, козлята, зайцы, куропатки, дрозды и дрофы были тут. Когда гости досыта наелись и вымыли руки, остатки пищи вместе с блюдом исчезли, словно по мановению. Но появились следом красивые рабыни со множеством свежих венков и заменили всем старый, увядший, а рабсириец вручил с низким поклоном каждому гостю золотой убор, равный по весу тому украшению, которое уже красовалось у него на груди. Все приняли щедрый дар с благодарностью, осыпая радушного хозяина похвалами.

Среди гостей Дамасия собрались все люди торговые, и после шуток, здравиц и весёлых, необязательных речей их мысли обратились к вещам привычным: дешевизна-дороговизна, цены на хлеб, солёную рыбу, канаты, торговые дороги и караванные пути, военные действия, которые или разоряли, или, напротив, приносили прибыль. Зала наполнилась ровным, неспешным говором.

Неподалёку от Асамона возлежал костлявый, чёрный от солнца Креофил из Тира, скорее путешественник, нежели торговец. Два года потратил Креофил, чтобы добраться до загадочной Индии, и год, чтобы воротиться назад на малоазийский берег.

– И что же, милейший Креофил? – допрашивал его с любопытством добродушный Ямвлих с Лесбоса. – Богаты ли там люди? И чем торгуют?

– За наши товары тамошние племена пригоняли нам быков, платили рабами и необделанными кусками серебра и золота, и меди. Всё это водится на их земле в изобилии. Но чеканных денег индийцы не знают. Так и другие купцы, кто плавал в Индию, говорили мне.

– Оно, конечно, – сомневался Ямвлих, – чем длиннее дорога, тем твоё золото становится дороже. Но вот я слышал, у нас под боком с тобой, в Лидии, течение реки Тмола тучами приносит золотой песок. Тамошние жители, когда появляется нужда в золоте,

загоняют на перекаты стадо-другое баранов с длинным руном и держат их в воде, перегородив реку, весь день с утра. А когда солнце начинает клониться к закату, они выгоняют стадо на берег. При этом бараны шатаются от тяжести застрявшего в руне золотого песку, а многие не могут даже идти, и хозяева, ухватив за рога, вытаскивают их на берег.

– Ты говоришь, в Лидии?

– Ну, да. Но неужели ты не слышал про это? – дивился добродушный Ямлих.

– Я слышал, но будто во Фракии, в верховьях Стримона, любезный. По малым притокам.

– Во Фракии не-ет! Там леса. Ах, какие там леса! Корабельные рощи. И много сосны для вёсел. Чудные там леса.

Гнафон вдруг вспомнил что-то и прыснул со смеху. И стал нашёптывать было приятелю на ухо свою историю, но вездесущий Феспид поймал его за руку и громогласно пристыдил:

– Ну, нет! Нет, милый юноша. Так не годится. Коли есть что, так ты выкладывай всем. Мы тут друг от друга, – он выделил голосом и интонацией «друг от друга», – мы тут друг от друга секретов не держим. Так что, милости прошу.

Все одобрительно загудели, так им по душе пришлись слова хлеботорговца Феспида.

– Вовсе нет, почтенные, – звонко рассмеялся Гнафон, нимало не смущаясь. – Но я подумал, не подобает мне, глупому отроку, отнимать у вас время и осквернять ваши уши своими недостойными речами. Однако, если вы все считаете себя моими друзьями, что ж... я готов.

Учитывая и весёлая речь ликосурца рассмешила достойных купцов, и ему было велено продолжать.

– Когда вы заговорили о Фракии, – начал Гнафон, – я вспомнил один странный обычай, о котором услышал совсем недавно. У фракийских племён, которые живут севернее крестонеев, когда уми-

рает глава семьи, его многочисленные жёны вместе с друзьями и родственниками покойного собираются вокруг тела и начинают яростно спорить, какую из жён он любил больше других. Они спорят так день и спорят ночь, и ещё день, и ещё ночь. На третьи сутки, разрешив спор, любимую супругу торжественно прикалывают и хоронят вместе с мужем. Остальные жёны горюют и расцарапывают в кровь лица, что выбор пал не на них, ведь это для каждой величайший позор.

Все подивились чужому обычаю и похвалили рассказчика. Но вот четыре раба, ухватившись с разных сторон и напрягаясь под тяжестью, внесли позолоченный серебряный поднос, и золото покрывало его толстым слоем. Поднос был столь велик, что на нём поместилась огромная жареная свинья, положенная навзничь. Она показывала всем брюхо, набитое изысканными и вкусными вещами: там были запечены дрозды, жаворонки, яичные желтки, устрицы, морские гребешки. Над блюдом вился лёгкий, ароматный парок, и зала тотчас наполнилась аппетитными запахами.

Красивые рабыни внесли следом по два лекифа с душистой миррой. Один из них был золотой, другой – серебряный, и оба вмещали по котилу. Раб-сириец с низким поклоном предложил каждому из гостей по два лекифа в дар от имени хозяина и вызвал бурю восторга подобной щедростью.

Пока всё это раздавали гостям, а рабы резали свинину и золотыми лопатками накладывали всем румяные огромные куски, истекающие соком, Дамасий что-то шепнул сирийцу, и тот принёс нечто, покрытое куском ткани. Дамасий, смеясь, сдёрнул ткань и приказал обнести и показать каждому, сославшись, что так делают в Египте по древнему обычаю на всех застольях, вроде нашего с вами.

В руках сириец держал деревянное изображение мертвеца, лежащего в гробу, вырезанное и раскрашенное столь правдоподобно, что всякий, едва взгля-

нужно, не мог не содрогнуться от вида смерти. На крышке гроба, прислонённой рядом, читалась отчётливо надпись:

**Веселись и радуйся жизни, пока можешь.
Ведь и ты будешь таким.**

Подле Дамасия, по правую от него руку, возлежал моложавый ещё, с чёрной как смоль бородой, уложенной на ассирийский манер, богатый пафлагонский купец по имени Архиад. Среди этих людей он находился впервые и мало кого знал, поэтому большей частью от-малчивался да слушал чужие разговоры. Но при виде деревянного мертвеца Архиад сдвинул брови и тяжело вздохнул, чем до слёз рассмешил Дамасия.

– Неужели, любезный Архиад, эта деревяшка так тебя перепугала, что ты не способен принять её как шутку?

– Ах, милый Дамасий, – печально качнул головой пафлагонец. – Я месяц как из Египта, по торговым делам, и сказать по правде, эта страна пришлась мне вовсе не по нраву. Египтяне умны, но смерть они почитают много больше, чем жизнь. От тамошних шуток и от веселья всегда припахивает могилой. Как вот от этой раскрашенной деревяшки. Даже любовь, стоящая в начале всякой новой жизни, у них издаёт запах тлена, – тихо добавил он. И замолчал.

Но гости услышали эти его слова и потребовали, чтобы он продолжал рассказ. Архиад вначале отказывался и даже предупредил, что его случай только испортит им веселье, но тем самым ещё больше всех заинтриговал, и присутствующие обратились в слух.

– Будь по-вашему. Я доскажу. В начале лета я отправился в Египет на трёх кораблях и прибыл в город Мемфис. Поутру я разыскал дом богатого египтянина, обратиться к которому мне посоветовали друзья. Имя этого человека Рамус.

– Я тоже знаком с ним, – послышался чей-то голос. Кажется, хлеботорговец Феспид.

– К сожалению, в его дом пришло великое горе. Неожиданно умерла лю-

бимая дочь, известная во всём городе красавица. Хозяина я нашёл подле тела в глубокой скорби, но из-за сильного трупного запаха не смог вымолвить ни слова. И поспешил удалиться, негодуя на себя за слабость. Но хозяйский эконом, видя моё состояние, всё мне растолковал. Сразу после смерти покойников в Египте принято бальзамировать. Это делают даже самые бедные за умеренную плату. Но тела жён знатных людей и красивых женщин они передают бальзамировщикам только через три или четыре дня, чтобы бальзамировщики с ними не совокуплялись, что вовсе у них не редкость. А многие даже предпочитают такую любовь обычной, ибо находят в этом дополнительные краски.

Хлеботорговец в знак согласия склонил голову. Усмехнулся.

– Такую любовь называют ещё «египетской», и это сущая правда. Иногда раздумываешься на досуге и спросишь себя: неужели столь древний народ, начала которого уходят во мрак тысячелетий, усовершенствовал себя лишь до того, что перестал различать живую женщину от мёртвой?

Гости задумчиво молчали.

– Скорее, любезный Феспид, это признак вырождения, а не усовершенствования народа, – развёл руками Дамасий и поворотился к пафлагонцу, как бы ища поддержки.

– Я так не думаю, – возразил Феспид. – Дело, на мой взгляд, вовсе не в Египте, если быть до конца честным. Это всё есть человек, ибо настоящий наш лик отвратителен. Своим разумом мы лишь скользим по гладкой поверхности этой мрачной пучины, но не решаемся погрузиться в неё внимательным взором, чтобы не ужаснуться увиденному и не сойти с ума. Слой разумного в человеке, к сожалению, столь же тонок, как плодородный слой почвы на поверхности земли.

Он замолчал, и тишина, воцарившаяся вслед за его словами, свидетельствовала, что каждый из присутствующих пытался соотнести их смысл с соб-

ственными ощущениями и, быть может, примерить на себя.

Дамасий по праву хозяина первым нарушил молчание, ударив трижды в ладони. Заиграла весёлая музыка, и роскошные занавеси на противоположной стороне колыхнулись и поползли вверх и в стороны, обнаружив вместо стены ещё одну комнату, но меньших размеров и с отдельным входом. Через этот вход проскользнули чередом одна за другой, извиваясь в изящном танце, юные танцовщицы, одетые одни нереидами, другие – наядами, третьи – лесными дриадами. После них появились какие-то комедианты, ряженые птифалами, и нагие фокусницы, кувыркающиеся на мечях и выдувающие изо рта и ушей огонь.

Когда представление закончилось и занавеси упали, все обратились вновь к винам – фасийскому, мендесийскому, лесбосскому, и рабы по первому знаку наливали из узкогорлых скифосов в золотые фиалы гостей рубиновые, изумрудные, искрящиеся солнцем жёлтые и светлые вина, кто какое хотел, и всяк сам по вкусу разбавлял свою чашу водой из широких гидрий.

Гости были уже в том приятном состоянии, когда рассудок покидает нас, и рабы внесли оправленное серебром хрустальное блюдо, полное жареной рыбы всевозможных сортов, а красивые рабыни вновь надели на каждого свежий веночек взамен увядшего и поднесли серебряную чашу с водой, чтобы гость омыл в ней руки. Едва они удалились, появился старый сириец и в очередной раз с низким поклоном от имени хозяина подарил каждому золотой убор, венчающий голову, вдвое тяжелее прежних, и новые двойные лекифы с миррой.

Дамасий со смехом помог чернобородому Архиаду водрузить золотой венец на голову, но куда девать остальные подарки, которые со сладким звоном то тут, то там падали из рук на пол, никто не знал. Тогда хозяин распорядился принести маленькие изящные корзинки, сплетённые из пластинок слоновой кости, и все стали укладывать в

них и наперебой поучать друг друга, как это лучше сделать, так что солидное застолье стало больше походило на палестру, когда домашние рабы разом приводят туда малых детей.

Хозяин собственноручно уложил охмелевшему пафлагонцу его долю в корзину и, пока раб струил в золотой фиал Архиада янтарное, крепкое вино, развлекал гостя разговорами.

– Дорога твоя длинна, любезный Архиад. Но в отличие от меня, ты полон сил, а ума, я вижу, в тебе достанет на троих. Не прими мои слова за лесть, но умные, благовоспитанные люди, да ещё из молодых, нынче так редки. Очень, очень редки. Я рад знакомству с тобой безмерно.

– Благодарю, милый Дамасий, на добром слове. И за твои воистину царские дары. Пусть твоя жизнь продлится столько, сколько пожелаешь ты сам.

– Но позволь спросить, мой молодой друг, куда намерен ты держать путь дальше? Или хочешь повернуть корабли домой? – ласково вопрошал Дамасий, пригубляя вино.

– Домой? Пожалуй, что так. Правда, по пути мне придётся сделать изрядный крюк. Пилос, потом Метона, Кифера, Эгилия, наконец, Крит. Не прежде.

– Крит? Я не ослышался?

– Да, и Крит тоже.

Дамасий задумался. Даже прикрыл глаза.

– За мной числится там должок. Четырнадцать амфор с оливковым маслом. И раб. Время, правда, терпит, но долги я предпочитаю отдавать до срока. Это верный способ и впредь поддерживать с подельщиком добрые отношения.

Архиад с живостью взял хозяина за руку.

– Позволь мне, любезный Дамасий, оказать тебе эту маленькую услугу. Я тоже не люблю ходить в должниках, – он слегка задел корзину с дарами, и золото ответило тихим, ласковым перезвоном. Оба рассмеялись.

– Это дар, а не долг, мой Архиад.

Но если тебя не затруднит, то ты избавишь меня от лишней заботы.

И купцы ударили, дурачась, друг друга по рукам.

– Он чудный человек, мой заимодавец, и тебе полезно будет завязать с ним отношения. А раб? Раб, говоря по совести, вздорная тварь. И ты, любезный Архиад, ежели что заметишь, так ты его в плети, в плети! А то и рогатку на шею.

Пафлагонец расхохотался и уверил Дамасия, что на раба он как-нибудь отыщет управу, нет нужды беспокоить себя пустяками. Их беседу нарушил хлеботорговец Феспид. Встав с ложа, он поднял руку, требуя тишины.

– Досточтимые гости, друзья! Завтра многие из вас отправятся на гипподром, дабы насладиться зрелищем конных ристаний. Но я почти уверен, не все вы знаете, что наш гостеприимный хозяин – владелец двух великолепных упряжек, и завтра его кони примут участие в состязании колесниц.

– Допущена одна упряжка, мой добрый Феспид, – рассмеялся Дамасий. – Только одна. На сей раз ристальщиков оказалось слишком много. На всех не достанет места.

Гости дружно осушили свои фиалы за успех коней Дамасия ещё и ещё раз, и хлеботорговец Феспид выразил желание доставить гостеприимному хозяину небольшое удовольствие. По его знаку сириец пригласил в залу кифареда в расшитом золотом, длинном до пят хитоне с рукавами, поверх которого был надет обыкновенный, подпоясанный хитон, а сверху накинута прошитая золотом хлена, вероятно, взятая на время. Голову музыканта венчала золотая повязка и лавровый венок, хотя изрезанное морщинами лицо показалось Асамону весьма вздорным и надменным, как это бывает у всех гордецов, сознающих собственную бедность и оскорблённых ею.

Перед началом пира Асамон заметил его в одном из переходов, в углу, вдвоём с каким-то флейтистом, ссорящимися. Они осыпали друг друга грязной бранью, и кифаред скрипучим, слов-

но деревянная ось, голосом называл флейту не инструментом, из которого можно извлекать божественные звуки, а ослиным срамом. Порядочный человек, если он действительно порядочный, никогда не сунет эту гадость себе в губы.

Хлеботорговец Феспид, однако, представил кифареда как искуснейшего в своём ремесле. Но когда он предложил ему назвать своё имя, тот с решительностью отказался. Неожиданно сильным, певучим голосом он попросил у всех благосклонного внимания и в конце, если его песнопение придётся почтенному собранию по вкусу, если гости сами пожелают узнать его имя, это будет для певца достойнейшей наградой.

Такая речь произвела на всех благоприятное впечатление, и гости приготвились слушать.

Музыкант тяжело прикрыл веки, и словно суетная тень сбегала с его лица. Оно озарилось вдруг отблесками того огня, который уже пылал в нём самом, на алтаре его вдохновенных Муз, и черты человека, ещё недавно ничтожного и вздорного, быть может, на глазах у всех чудесным образом переменялись, и весь облик его обрёл богоподобие. Лево́й рукой, узловатыми, длинными пальцами он пробежал по струнам кифары, висящей на широком ремне, и вдруг ударил плектром по всем разом, исторгнув из них рыдающий стон такой силы, что разом все содрогнулись и мороз ощутили на коже. Взрокотали сладкозвучные струны, и голос аэда наполнил трепетом внимающие души.

...Выйдя к берегу серого моря,
Он один в ночи
Воззвал к богу, носителю трезубца;
К богу, чей гулок прибор, –
И бог предстал перед лицом его.
Сказал тогда Пелопс:
Если в милых дарах Киприды
Ведома тебе сладость, –
О, Посидон!
Удержи медное копьё Эномая,
Устреми меня в Элиду
на необгонимой колеснице,
Осени меня силой!

Тринадцать мужей, тринадцать женихов
Погубил он, отлагая свадьбу дочери...

Так повёл он повествование – из середины, с рефрена, но затем искусно и сильно возвратился к началам предания, когда царь Писы, могущественный Эномай, чья власть простиралась от моря до моря, вдруг получил предсказание оракула, что в скором времени его ждёт смерть – от руки мужа собственной дочери. Мрачные думы обуяли могучего владыку, и не стало ему с тех пор покоя ни в роскошном дворце, ни в излюбленных им охотничьих потехах. Сон оставил его ночами, и однажды в помрачении рассудка он, словно тать в собственном доме, прокрался в полночь в спальню юной Гипподамии, скрывая в складках одежды кинжал. Но цветущая красота дочери, золото её волос, широкими волнами стекающее по всему изголовью на пол, остановили безумную руку.

И тогда решил царь Писы – пока жив, он не выдаст свою дочь замуж, кто бы ни захотел стать её мужем, или кого ни захотела бы выбрать она сама. Но слухи о красоте Гипподамии давно полнились далеко за пределами огромного царства, и от женихов вскоре не стало покоя.

Много славных героев приходили во дворец Эномая, просили руки его дочери. Он не мог отказывать всем беспричинно, тем самым незаслуженно оскорбляя их. Тогда Эномай разослал во все пределы глашатаев и объявил, что отдаст Гипподамию в жёны лишь тому, кто победит его, царя Писы, в состязании на колеснице. Но чтобы отпугнуть назойливых претендентов, поставил страшное условие: если победителем будет он сам, то побеждённый должен поплатиться за свою дерзость жизнью. Во всей Элладе не было равного Эномаю в искусстве управлять колесницей, а его кони, подарок бессмертных богов, были быстрее северного ветра Борей. И царь был уверен в своей победе.

Страх лишиться жизни остановил многих, но не всех. Один за другим приходили они во дворец в Пису, готовые состязаться с Эномаем, лишь бы полу-

чить в жёны Гипподамию – так она была прекрасна. Но каждого из героев неизменно постигала злая доля – всех убил Эномай, где настиг на своей колеснице, убил их коней и возниц и побросал трупы в широкий ров, вырытый неподалёку от Олимпии. Отрубленные головы женихов Эномай привозил во дворец и накалывал их на медных штырях на ворота, чтобы каждый, приходивший вновь, видел, как много славных героев пало от руки Эномая, и заранее знал, какая участь ожидает его.

Однажды прибыл ко двору славный Пелопс и осадил перед широкими, меднокованными воротами свою колесницу. Слёзы оросили ему грудь, едва он сошёл, ибо многим из погибших тринадцати женихов он был добрым другом, а теперь видел их поруганные головы наколотыми на страшных спицах.

Череп первого из женихов, Мармака, был уже голым, без плоти. Беспощадное солнце и проливные дожди вымыли и высушили кость добела. Теперь дикий рой нашёл тут своё пристанище, и пчёлы веером разлетались из пустых глазниц на цветущие вокруг поля за сладким взятком. Последняя голова несчастного Триколона еще сочила на медь сукровицей, и не пчёлы, а жирные мухи летали вокруг и облепили её, превратив в сплошное, подвижное месиво.

После Мармака вторым от руки Эномая погиб красавец и весельчак Алкаф, сын Портона. За ним были убиты Эвриал, Эвримах и Кротал. Кто были их родители и откуда они родом, Пелопс не знал, но прочёл ниже их имена, выбитые на меди. Следующая за Кроталом висела голова лакедемонянина Акрия, основателя Акрий. Год назад Пелопс веселился у него в гостях, и вот судьба вновь свела их вместе. После Акрия были убиты Эномаем – Капет, Ласий, Халкодонт. Злая участь постигла в этом состязании Аристомаха, Прианта, Пелагонта, Эионея, а также знаменитого Эриффу, сына Левкона и внука Афаманта, по имени которого был назван город Эриффы в Беотии.

Но не остановило это Пелопса, ибо страх смерти только веселит сердце храброго и украшает ему жизнь, как пряная приправа улучшает вкус мясного блюда. Любой ценой надумал Пелопс добыть Гипподамию и – вошёл во дворец.

Сурово принял Эномай гостя и сказал ему:

– Ты хочешь получить в жёны мою дочь? Разве не видел ты, неразумный, сколько славных героев сложили за неё свои головы в состязании со мной? Смотри, и ты не избежишь их участи.

– Напрасно ты так уверен в себе заранее, о могучий царь, – дерзко ответил ему Пелопс. – Боги, надеюсь, не оставят меня милостью, и Гипподамия станет моей. Ты же, когда проиграешь мне спор, отдели в приданое за дочерью половину своего царства.

Злобная усмешка вспыхнула на губах Эномая от таких речей. Но сдержал себя до поры царь Писы.

– Слушай же, Пелопс, – сказал он, – вот условия состязания: путь твой лежит от города Писы через всю Аркадию до самого Истма, где море. Кончается он у жертвенника властителя морей Посейдона, недалеко от Коринфа. Если ты первым достигнешь жертвенника, ты победил. Но горе тебе, если я настигну твою колесницу в пути! Тогда моё копьё пронзит тебя, как пронзило оно уже многих героев, и ты бесславно сойдёшь в мрачное царство Аида. Я дам тебе лишь одно снисхождение, его я давал всем другим: ты тронешься в путь раньше меня, я же принесу прежде жертву великому Зевсу и только тогда взойду на колесницу. Спешу проехать как можно больше пути; на эти мгновения ты продлишь жалкие остатки твоей жизни.

И повелел Эномай позвать к нему медника. Когда медник пришёл, царь указал на Пелопса и велел отковать для его головы на ворота новый штырь и выбить имя под ним.

Пылая гневом, покинул Пелопс дворец жестокосердого царя Писы. Он видел, что только хитростью возможно для

него добиться желанной победы и отомстить за убиенных безвинно товарищей. Воздать за зло злом же.

Ночью тайно он проник в дом царского возничего Миртила, сына Гермеса, и вывалил перед ним грудой золото и серебро, и цветные камни в награду. Он просил его не вставлять чеки в оси, чтобы соскочили колёса с колесницы Эномая, и задержало бы это царя в пути; чтобы подрезал Миртил незаметно упряжь или расковал лошадей, и они бы охромели в дороге и остановились.

Не согласился Миртил на подкуп. Он велел забрать Пелопсу всё золото и драгоценности и покинуть его дом. Зная, сколь искусен Миртил в управлении колесницей, Пелопс предложил ему сверх того коней, самых быстрых, каких он выберет сам в его табунах, а когда с его помощью он победит Эномай, обещал Пелопс отдать Миртилу половину Эномаева царства. Но неподкупен, как и прежде, оставался царский возничий. И тогда решил Пелопс применить последнее средство. С тяжёлым сердцем отважился он на подобный шаг, однако выбора у него не было. К тому же, подумал он, никакое средство не может быть чрезмерным против Эномаева злодейства.

Прослышал стороною Пелопс, что Миртил сам давно любит красавицу Гипподамию, но не решается вызвать царя на состязание, лучше других зная быстроту его коней. И тогда сверх предложенных даров после победы над Эномаем обещал Пелопс несговорчивому Миртилу подарить право первой ночи с Гипподамией.

И Миртил согласился на это.

Настало утро. Позолотила восходящая, розоперстая Эос небесный свод. Вот уже показался на небе лучезарный Гелиос на своей золотой колеснице. Скоро начаться состязанию. Обратился Пелопс к великому колебателю земли Посейдону, умоляя его о помощи, и вскочил на колесницу. Царь Эномай подошёл к жертвеннику Зевса и дал Пелопсу знак, что он может трогаться в

путь. Погнав Пелопс коней во весь опор. Гремят по камням колёса его колесницы. Как птицы несутся кони. Быстро скрывается в облаке пыли Пелопс. Гонит его любовь к Гипподамии, страсть к отмщению и страх за свою жизнь, ибо нет в нём полной уверенности, что Миртил сдержит слово.

Вот далеко за ним послышался грохот колесницы Эномая. Настигает царь Писы дерзкого сына Тантала. Как буря, несутся кони царя, вихрем крутятся пыль от колёс колесницы. Ударил хлыстом по коням Пелопс, ещё быстрее понеслись они. Ветер свистит в ушах от их бешеного бега, но разве уйти ему от коней царя Эномая, которые быстрее северного ветра Борей! Всё ближе и ближе Эномай, уже чувствует за спиной Пелопс горячее дыхание его коней, уже видит, оглянувшись, как с торжествующим, злорадным смехом царь взметнул над головою длиннотенное копье.

– Недалеко же ты успел уйти, ничтожный наглец! Сегодня твоя глупая голова украсит мои ворота!

И, забавляясь, он уколол острой медью Пелопса между широких лопаток ещё и ещё раз. В отчаянии взмолился Пелопс Посейдону – и властитель безбрежного моря внял его мольбам. Лопнула вдруг крепкая упряжь, и соскочили разом колёса с осей колесницы. Она опрокинулась, и грянулся наземь жестокосердный царь Писы, разбившись о камни. Мрак смерти открыл его очи.

С торжеством воротился герой в Пису и взял в жёны прекрасную Гипподамию, завладел огромным царством Эномая. Но, счастливый, он не ведал ещё, что зло переимчиво, словно зараза, и, раз ступив на этот путь, человек уже не волен остановиться.

На свадебном пиру подошёл к Пелопсу царский возничий Миртил и потребовал себе условленную награду. Коварный сын Тантала хитростью заманил Миртила на берег моря и столкнул его с высокой скалы в бурные волны. Падая, проклял Миртил Пелоп-

са и всё его потомство. Тело Миртила волны выбросили вскоре на берег в Аркадии, недалеко от города Феней, и фенеаты похоронили его позади храма Гермеса. Каждый год ночью фенеаты приносят ему жертвы как герою. А эту часть Эгейского моря, близ Феней, стали называть Миртойским морем.

Зло не иссякло со смертью Миртила, и как ни старался Пелопс смягчить гневную душу царского возницы, как ни старался богатыми жертвами смягчить гнев его отца, бога Гермеса – всё было напрасно.

Однажды сын Пелопса от первого брака Хрисипп был убит сыновьями Гипподамии, Атреем и Физэтом. Они боялись того предпочтения в наследстве, которое, как они подозревали, мог оказать старшему и любимому сыну отец. В страшном гневе Пелопс сослал Гипподамию с глаз долой, в Арголиду, обвинив её в подстрекательстве, и вместе с нею братьев-убийц. Атрей и Физэт в скором времени погибли на чужбине один за другим, а Гипподамия, удручённая горем, наложила на себя руки. Её кости впоследствии были перенесены в Олимпию. Внутри Альтиса у Входа Процессий есть место недалеко от Пелопиона – так называемый Гипподамий, размером около плетра, оно обнесено каменной стеной. Один раз в год сюда открыт доступ женщинам, которые приносят жертвы Гипподамии и совершают другие обряды в её честь.

Зло не иссякло и тогда, когда истреблён был весь род Пелопса до последнего колена. Словно лесной пожар, расплзлось зло в разные стороны, пожирая всё новые жертвы среди рода Эномая тоже, ибо за злодеяния отцов воздаётся в детях и внуках их многократно.

Последним смертью настигла младшего сына Эномая по имени Левкипп. Этот Левкипп был влюблён в Дафну, но не имел надежды взять её в жёны, сватаясь открыто, потому что девушка была сестрою юного Эионея, одного из убитых отцом Левкиппа женихов. И тог-

Дамасий

60

главы из романа

да Левкипп придумал хитрость. Он отрастил волосы и, заплетя их, как делают девушки, и, надев женский наряд, пришёл к Дафне. Он сказал, что желал бы охотиться с Дафной и её подругами на диких зверей. Скоро все увидели, что новая девушка на охоте искуснее всех, к тому же она чрезвычайно покладиста и услужлива, и так Левкипп вошёл с Дафной в близкую дружбу. Однажды девушки пожелали купаться в Ладоне и заставили Левкиппа раздеться против его воли. Увидев, что перед ними мужчина, они узнали его и в ярости убили, поражая копьями и ножами.

Так зло, порождённое от зла, росло и множилось долгие годы, пожирая себя, пока не исчезло окончательно. Долго ещё на старом пепелище, выжженном дотла, не проклюнется нежный, зелёный росток, не осквернённый ничьим злодеянием...

Угасли в воздухе последние, дрожащие звуки кифары, но ещё долго молчали гости. Затем, словно очнувшись, окружили певца, и каждый наперебой восхвалял его искусство, спрашивали все имя и имя отца, откуда он родом, предлагали деньги и угощали вином беспрестанно. Слезы, исторгнутые аэдом из глубин души, долго стояли у всех в глазах.

Раб-сириец, приблизившись к Гнафону сзади, шепнул на ухо, что господин спрашивают, и, если господин не против, он проводит его немедленно. Оба удалились.

Званый ужин тем временем завершился. Напоследок рабы внесли уложенные в плетёнках сладости и фрукты, и пироги всех сортов – и критские, и самосские, и аттические. Хозяин своим примером подал знак пить из меньших кубков и велел рабам обнести гостей вином, которое было как бы противоядием против выпитого прежде. Наконец, прозвучал условленный сигнал к окончанию пира, и все поднялись с мест, обращаясь к Дамасию с похвалами за чудно проведённое время и за роскошные дары.

Асамон отправился на поиски приятеля и в переходе, в том же самом углу, заметил своего кифареда в компании с двумя какими-то оборванцами. Одного из них он, впрочем, узнал. Это был прежний флейтист, а второго, с физиономией озлобленного бездельника, видел впервые.

Шитые золотом одежды и повязка были пожалованы кифареду в дар за его искусство растроганным Феспидом, и теперь он красовался в этом наряде перед оборванцами на вершине своего успеха – пьян, брюзглив и великодушен. Он швырял на пол со звоном то одному, то другому золотые монеты, но не прежде, чем тот гавкнет во весь голос и подпрыгнет при этом, как заправская собака. Голос кифареда был скрипуч, неприятен, к тому же он громко икал через слово, бахвалясь перед оборванцами, и Асамон подумал, в какой жалкий и недостойный сосуд влит небом его божественный дар.

Было непонятно, зачем певцу понадобились эти два ничтожных человека, наперебой изображающие собак, хотя по злобному блеску глаз Асамон видел – флейтист готов немедленно с живого содрать со счастливого кожу, как это сделал Аполлон, когда проиграл сатиру Марсию состязание в игре на флейте. Они все слишком самолюбивы и злобны, эти служители Муз, проповедующие добро.

Спасаясь от нахлынувшего внезапно одиночества, Асамон покинул пределы Альтиса и уже подходил к северо-западному входу, когда впереди него в нескольких десятках шагов промелькнула в пятне лунного света фигура отца. Асамон удивился подобному совпадению и хотел окликнуть, но что-то заставило его удержаться. Тёмно-коричневый хитон, какого тот никогда, кажется, не носил, предпочитая яркие тона. Странная поступь, с оглядкой. К тому же, он шёл один без сопровождающего раба.

Такое поведение показалось Асамону даже забавным. Поколебавшись, он двинулся следом, стороною, стараясь не попасть ненароком на глаза. История с пафлагонцем, похоже, продолжалась, и разгадка, он уже не сомневался в этом, сокрыта где-то совсем рядом, стоит протянуть руку.

Вначале, обогнув угол Альтиса, они неторопливо подвигались вдоль южной стены, но возле Булеветерия и примыкающих к нему зданий Дамасий взял круто вправо и скрылся среди кустов и каких-то чёрных нагромождений, как оказалось, больших скирд соломы. Асамон поспешил следом и вскоре разглядел неясную тень, пробирающуюся вдоль узкой улочки из разбитых рядами палаток, увешанных шкурами, широких навесов от солнца и крытых повозок с задранными оглоблями. Впереди показалась небольшая рощица с темнеющими кронами. Судя по звукам, в ней были устроены коновязи. Вскрапывание лошадей, короткое ржанье. Отчётливый звяк металлических частей упряжи. Иногда полусонный конюх из рабов на варварском наречии начинал лениво ругать лошадь. И не договаривал своей угрозы, засыпая на полуслове. Снова всё было тихо. Только в стороне меж чернеющих стволов ещё поблёскивал, слабея, догорающий огонь, и слышен был неторопливый, отчётливый в ночи разговор.

Подле костра на охапках соломы лежали, укрывшись плащами, вповалку спящие фигуры, около десятка. Ещё двое, то ли на карауле, то ли из-за бессонницы, продолжали бодрствовать, толкуя между собой о достоинствах лаконской породы лошадей. Худошавый, молодой грек с жёсткими, прямыми чертами лица был явно не высокого мнения и о породе, и о самих спартамцах.

– Нет, – говорил он, – это тонкое дело, лошади. Нельзя всё затевать на пустом месте, как они. Я уверен, во всей Спарте и теперь не сыщется трёх знающих людей, кто способен отличить лошадь от мула.

Его седовласый собеседник, сидя на куче дров, с улыбкой покачал головой.

– Я был тогда молод. Как ты, Главк. Второй год семьдесят четвёртой олимпиады. Это был год, когда персы заставили спартамцев уважать боевые качества конницы.

– Платеи?

– Да, это случилось при Платеях. Оба войска десять дней и ночей стояли в долине друг против друга и не решались начать открытое сражение. Но персы имели лучшую в мире конницу. Уже на второй день с утра они устроили перед рядами спартамских гоплитов свою знаменитую «карусель». Надо было видеть, что там творилось. Их конница врассыпную несётся на строй гоплитов в лоб и вдруг, не доскавав, делится надвое так, что напротив флангов образуются два широких кольца... Визг. Вой. Грохот. Конские копыта вздымают тучи пыли. День превращается в ночь, и солнце, будто бельмо, плавает в густой пелене. Когда в первый день варварская конница ускакала и осела, наконец, пыль – треть гоплитов в войске лежала на земле с торчащими из тел стрелами. У варваров были сильные луки и длинные стрелы с тяжёлыми наконечниками. С близкого расстояния стрелы насквозь проходят самый крепкий щит, пробивают броню и поражают воинов, сбитых в плотную, неподвижную массу.

– А спартамцы? – воскликнул Главк, недоумевая. – Где были спартамские лучники?

– Пыль. Кругом одна пыль, Главк. Они задыхались в пыли и едва различали стоящего рядом. Попробуй сделать прицельный выстрел почти наугад по пролетающему во весь опор всаднику. Проку, уверяю, не будет.

– И что затем?

– Затем на них двинулись персы. Пеший строй. Спартамцы едва успели отправить в тыл раненых и сомкнули ряды. Но как только они сомкнули ряды, снова с флангов вылетела конница и снова устроила «карусель». Так продолжалось до самого вечера, только под

покровом ночи спартанцы смогли отступить в предгорья и встали там, среди огромных камней, на расстоянии полёта стрелы. Больше половины убитых и раненых.

Он поковырял палкой в угольях, взбадривая огонь.

– Зато теперь у спартанцев свои конные заводы. И не плохие, уж ты поверь.

Главк пожал с сомнением плечами, но оспаривать старшего по возрасту не стал. Перевёл разговор на другое.

– Ты знаешь, Превген, где теперь мой хозяин? В Афинах, обделывает свои делишки.

– Опять ты за своё, Главк? Право, не стоит.

– Но почему так, скажи? Мы, возникшие, ломаем себе руки, ноги. А то и расшибаемся насмерть. Но победу присуждают не тебе, не мне, а владельцу лошадей? Разве он управляет колесницей?

– Боги, Главк. Всемогущие боги управляют твоей колесницей.

– О, да! Согласен. Но они управляют вот этими вот, моими руками. В прошлом году в Истме из сорока колесниц только одна пришла к концу. Остальные разбились. И владелец этой, единственной, сидя в почётной ложе, получил победный венок. Почему он, а не его возникший?

– Да, помню. Это была как раз та самая колесница, которая все шесть кругов плелась сзади, в хвосте. Потом она оказалась первой и единственной. Что ты на это скажешь? Искусство возницы и резвость лошадей тут не причём, коли боги того не захотят.

Главк усмехнулся.

– Ты вечно меня поддразниваешь, хотя сам тоже потерял ногу на дромосе. Свою ногу, а не хозяина. Разве не так?

– Может, ты и прав. Но когда у тебя будет своя колесница и свои лошади, ты тоже не захочешь делиться победой со своим возникшим, поверь.

Седовласый Превген протянул молодому вознице порожний кувшин.

– Сходи за водой. И пора спать.

Главк шагнул с кувшином от костра, и темнота поглотила его. Сквозь заросли дикой маслины светлела, отливая серебром, покойная речная гладь. Течение слегка шевелило камыш под берегом; где-то в стороне на отмели отыскивала свой скудный прокорм крупная водяная крыса, тяжело бултыхаясь среди корней. По реке ощутимо тянуло дымом. Ухватившись за ветку, Главк зачерпнул кувшином воду и поставил рядом на плоский камень, желая ополоснуть лицо. За спиной послышался вдруг лёгкий шорох.

– Кто здесь? – он обернулся.

Из-за дерева, растущего возле самой тропы, выступила неясная в темноте фигура. Незнакомец поднял руки вверх, показывая, что в ладонях у него ничего нет.

– Надеюсь, храбрый юноша, я не слишком перепугал тебя? – сказал он, сопровождая свой вопрос лёгким смешком.

– Кто ты? И что тебе здесь нужно?

– Тсс! Не так громко, любезный. Не так громко. Твоё имя Главк, не так ли? Сын Дориея из Афин?

– Допустим. Но мне кажется, я тоже знаю тебя?

– О, я всего лишь торговец. Обыкновенный торговец, каких много. Тогда как Главка, сына Дориея, знают не хуже, чем знаменитого Иолая, возницу самого Геракла, которому не было равных в искусстве управлять лошадьми.

Главк хмыкнул, но незатейливая, грубая похвала пришлась ему по душе. Более миролюбивым тоном он осведомился:

– Ну? И что же?

– Взгляни сюда. Здесь пять мин. Серебром. Это половина тех денег, какие Афины платят победителю на Олимпийских играх. То есть хозяину колесницы, а не возникшему. Хотя именно возникший рискует ради победы своей жизнью, – он приблизился и встряхнул перед носом у Главка тяжёлый мешок, набитый деньгами. – Но это ещё не всё...

Жестом Главк остановил торговца.

– Уж не собираешься ли ты подарить эти деньги мне?

– Именно так, любезный! Ведь у тебя больной, при смерти отец. И один-единственный раб, но и тот еле волочит ноги от старости. Твоя жена со дня на день собирается подарить тебе очаровательного мальчика. А тебе не на что даже угостить друзей.

– Клянусь, – вспыхнул Главк, – ты злоупотребляешь моим терпением!

– Милый юноша, я вовсе не желаю тебя обидеть. Но и ты прежде, чем рассердиться, выслушай меня. Столько денег твой хозяин не заплатит тебе и за три года. А между тем, своим искусством возницы ты равен бессмертным. Кое-что, поверь, я понимаю в конном ристаньи. Ты и на худших конях добывал для него победу. А что ты за это имел?

Главк молчал, и торговец, заметив его нерешительность, вновь звякнул тяжёлым мешком.

– Здесь только задаток, как ты понимаешь. Ещё столько же получишь завтра вечером. На этом самом месте. И сверх того, так и быть, я подарю тебе молоденькую рабыню. Подумай хорошенько, ты сможешь избавить свою жену от чёрной работы. Или тебе не жаль её, беременную?

– А клятва? Мы все, и ты тоже, клялись сегодня перед статуей Зевса Клятвенного на внутренностях кабана, что будем состязаться честно!

– Боги, я думаю, простят нам такую мелочь, если каждый из нас принесёт купительную жертву. Ну, решайся? Десять мин серебром. И рабыня! А за что? Разве ты настолько уверен в своей победе и в покровительстве богов к тебе? Не будь таким ослом. Иначе всю жизнь станешь проклинать себя за глупость.

Мешок с деньгами сам собой перекочевал в руки Главка и окончательно поколебал его.

– Ты прав, – мрачно пробормотал он. – Эти деньги для меня важнее победы. И клятвы тоже. Но я бы лучше прибил тебя, как собаку, если бы мир от этого стал честнее.

Торговец усмехнулся.

– Прекрасные слова, храбрый юноша. Я сразу понял, что ты человек честный и благородный. Однако не забудь имя моего возницы, ты знаешь его... Ксенарх.

– Ступай!

Фракиянка

...Юный афинянин уже подымался по ступеням Пританея, когда навстречу из-за угла неожиданно вывернул Гнафон, блестя чёрными, радостными глазами, и едва не сбил его с ног.

– Ага, вот ты где! А я рыщу по всему Пелопоннесу, – смеясь, вскричал он и потащил Асамона за собой. – Между прочим, для тебя есть превосходная новость. Идём, идём!

Асамон побледнел, но усилием воли сдержал себя, боясь в очередной раз жестоко ошибиться. И даже не стал докучать расспросами. Вместо этого он сходил в покои и передал Гнафону его корзинку из слоновой кости с золотыми дарами. Мягко упрекнул:

– Я тоже тебя ищу, досточтимый Гнафон. Только мне странно, почему я должен бегать за тобой с подарками? А не наоборот?

– Это мне? Помилуй, за какие заслуги?

– Видишь ли, отцу показалось, что ты мой гость.

– Ха-ха-ха!

– Но если это не причина для тебя, тогда пусть они будут наградой за то, что ты сегодня добровольно уступил мне свою победу.

– Ну, нет, – Гнафон нахмурился. – Добровольно я бы не уступил никогда. Стало быть, это уж точно не причина.

– Я знаю. Но так показалось отцу. Хотя, кажется, его там не было в это время...

Оба рассмеялись, и Гнафон пообещал приятелю хорошо отлупить его в следующую олимпиаду.

– Кстати, твой будущий родствен-

ник, – Гнафон со значением понизил голос, – до сих пор не пришёл в себя. Так я, во всяком случае, слышал.

– Родственник? Кого ты имеешь в виду?

– Тисамена, разумеется! – плут расхохотался.

– Тисамен пострадал за свою глупость, – не сразу отозвался афинянин.

– Ну, да... в общем. Но если бы ты его не надул, тебе пришлось бы худо сегодня. Согласись?

– Мне пришлось бы провозиться с ним несколько дольше, – высокомерно ответил Асамон.

Они стояли у входа, возле жертвенника Артемиды Агротеры. Площадь перед Пританеом чудесным образом переменялась. Она выглядела теперь похожей на серебряное роскошное блюдо с чернью, оваянное фиолетовым ночным полумраком и обширными пятнами яркого лунного света.

Гнафон огляделся и, оставив корзину с дарами на ступенях, с мягкой уверенностью ночного зверя скользнул куда-то в сторону, за колонны. Вскоре он появился опять с фракиянкой, одетой в лунного цвета ниспадающий пеплос. Она походила в своей одежде на очаровательную, светловолосую няю с такими же светлыми глазами, похожими на прозрачные, мерцающие нефриты. Они то вспыхивали при свете луны, то пригасали под полуопущенными ресницами, и беспечная улыбка юности цвела у ней на губах, словно яркий, благоуханный цветок.

Асамон подумал, что красота девушки, перед которой столь пылко преклоняется его друг, надёжно хранит её душу от покорной, рабской приниженности.

Ещё издали фракиянка одарила его ласковым, слегка изумлённым взглядом, в котором явственно читалось восхищённое любопытство, кокетливое желание нравиться и радостное приветствие – всё разом с живостью и непосредственностью ребёнка. И Асамон невольно улыбнулся ей в ответ.

Приятель с загадочным видом слегка подтолкнул девушку к корзине.

– Взгляни, моя прелесть, на эти сокровища. Они принадлежат мне. И если я только захочу, я куплю себе сладкую, как виноград, свежую, как розовый в цвету куст, прекраснейшую во всём Лакедемоне рабыню и увезу её с собой в великие и славные Ликосурсы.

Гелика вспыхнула вдруг, растерянно озираясь. Но плут уже засомневался.

– Хотя не знаю. Зачем мне ещё одна рабыня? Пожалуй, будет лучше, если эти сокровища я попросту обменяю? – Он перевёл блестящие, чёрные глаза с Асамона на Гелику. Вскинул корзину над головой. – Я обменяю их с выгодой на поцелуй сладкой, как виноград, свежей, как розовый в цвету куст, прекраснейшей из рабынь, чтобы она, если пожелает, выкупила у хозяев свою свободу!

Кровь отхлынула от щёк Гелики, и она едва держалась на ногах. Гнафон бросил корзину и с поспешностью подхватил девушку на руки. Наконец, чуть слышно она пролепетала:

– Если это шутка, я... не перенесу.

– Шутка?! – вскричал Гнафон. – Обои! Это мой первый благородный поступок в жизни. И, быть может, последний. Но никак не шутка.

– Откуда... это всё?

– О, моя прелесть! Надо уметь выбирать друзей. Только и всего.

Асамон рассмеялся.

– Ты превосходно распорядился своим золотом, дружище. Я поздравляю.

– Поздравляешь меня с покупкой? А если Гелика пожелает стать свободной?

– О! Вначале я выкуплю свою свободу. А затем я добровольно стану тебе рабыней, мой господин, – забавно растягивая слова, произнесла фракиянка. Все трое расхохотались, и Гнафон торжественно подставил щеку.

– Согласен! И жажду получить обещанный мне поцелуй.

Долгий, страстный поцелуй, запечатлённый на щеке юноши, скрепил договор к превеликому удовольствию всех сторон. Неожиданно девушка издала слабое восклицание и устала на

Асамона, прижав пальцы к пылающим щекам. Потом перевела испуганный взгляд на Гнафона.

– Разве ты, мой господин, не сказал другу, где он должен сейчас быть?

– Конечно, нет. Но я сказал, что его ожидает приятная новость. И он должен услышать её из твоих уст.

– Моя госпожа... – начала было Гелика и осеклась. Асамон стоял перед ней ни жив ни мёртв. Он был бледен, точь-в-точь как она сама, когда услышала о возможной свободе.

– Хриса? – одними губами без голоса переспросил он, ища скорейшего подтверждения.

– О, да! Подле сокровищницы сикионян. На Террасе. То самое место, где...

Асамон сбежал вниз.

– Но если это шутка, – он слабо улыбнулся, – клянусь, я не перенесу.

– Иди, иди, – рассмеялся вслед Гнафон, – я всегда подозревал, что ты безумец. Слышишь?

– А ты? – вкрадчиво прошелестел у него над ухом ревнивый шёпот, когда они остались одни.

– Что до меня, – сурово произнёс Гнафон, – то ни одна из женщин не стоит того, чтобы лишаться из-за неё хотя бы доли рассудка. Но, право же, моя чудная Гелика, к тебе это совершенно не относится. Я без ума!

– О, мой господин, я тоже! – тихо воскликнула прекрасная фракиянка, и гибкие фигуры их, облитые лунным светом, надолго объединились в объятиях на ступенях государственного Совета Элиды.

Улыбка Афродиты

В предутренних серых сумерках Асамон спустился к Алфею, к широкой, каменной отмели, придерживая в поводу двух оседланных лошадей. По очереди напоил их, слушая, как жадно с сапом втягивают они воду, и сел в сед-

ло на Авру. Вороной жеребец по кличке Коракс, словно привязанный, послушно бежал рядом, играя, и зубами то и дело норовил щипнуть кобылу за шею.

Гипподром юный афинянин объехал далеко стороной, не желая быть замеченным, и вскоре выбрался на старую аркадийскую дорогу. Тёмные рощицы благородного лавра тянулись по обеим сторонам, набрякшие утренней сыростью.

Асамон спешил и привязал лошадей в глубине зарослей за поворотом. Сверху надбровным валиком нависал склон холма Кроноса, образуя естественное укрытие, ограждённое по сторонам деревьями. В ожидании Асамон снял с себя плащ и, словно в воду, сунул руку в буйную зелень листвы. Холодной от росы ладонью провёл по пылающему жаром лицу. Огляделся. Дорога в обе стороны по-прежнему была пустынна. Он повернулся к лошадям и – вздрогнул от неожиданности под устремлённым на него в упор ярко-синим лукавым взглядом.

– Хриса!

На ней был серого цвета, ниспадающий до земли трибон, словно сотканный из предрассветных серых сумерек. Он делал её похожей на неясную тень, струящуюся множеством складок и перетекающую при малейшем движении. Казалось, она легко могла исчезнуть, как и появилась, при первом дуновении утреннего ветерка. Но Хриса не исчезала. Она стояла подле Авры, взяв кобылу под уздцы, и тонкими пальцами слегка касалась чуткого храпа.

Внезапное появление Хрисы, словно вино, ударило Асамону в голову, и кровь толчками застучала в виски. Он почувствовал, что теряется.

Огромным усилием воли Асамон овладел собою. Подошёл к жеребцу и тяжело положил руки на седло. Будь такое возможно, он велел бы сейчас привязать себя накрепко к мачте, чтобы, подобно Одиссею, изведать на себе губительные любовные песнопения сладкозвучных сирен, от которых люди мешаются рассудком, и, как он, выйти

из положения, не понеся урону. Несколько спустя, он молча поворотил к ней голову и упёрся угрюмым, почти враждебным взглядом в ласковую синеву её глаз, и она медленно истаяла под его свинцовой тяжестью, вся преисполнилась тревогой.

Он видел эти перемены в ней, внезапный испуг, но не мог ничего поделать с собой. Что-то упорно сопротивлялось в нём желанию быть счастливым – счастливым в безумии, при действующем рассудке! И угрюмая враждебность к ней, лишавшей рассудка, оставалась для него последним спасительным островом.

Девушка невольно отступила, в страхе, назад за лошадь. Слезы вскипели у ней на глазах, не ожидавшей такой встречи, тем более, что вины за собой она не чувствовала. Но их отношения были слишком коротки, и слишком мало можно было выдумать поводов, чтобы ошибиться в истинных причинах враждебности с его стороны, которую, она видела, он сам хотел, но не мог от неё скрыть. В тот же краткий миг своего испуга она прозрела тайные движения его души, и нежность к нему и жалость, почти материнская, желание спасти от самого себя переполнила её, как сосуд, забытый у источника под хлещущей через край струей.

Он уже не смотрел в её сторону, но стоял, опустив голову и положа руки на седло. Она скользнула к нему тенью сзади и спрятала мокрое от слёз лицо у него на плече. Всклипнула то ли от жалости, то ли прося о примирении.

Этот трогательный и беспомощный жест немедленно отозвался в нём волнующей дрожью. О, как хотел бы он в эти мгновения обернуться к ней и заключить с нежностью в объятия, коснуться щекою волос; наконец, искупить невольный порыв враждебности, который она уже с лёгкостью простила, но... достаточно грубо Асамон отстранил от себя девушку и шагнул к дереву отвязать кобылу. Хриса с покорностью последовала за ним, недоумевая, почему её попытка не была принята, и желая

хотя бы мельком поймать его взгляд, виноватый, с досадой ли, действительно грубый или только растерянный, как у неё самой перед тем, что с ними происходит. Но он не смотрел на неё – сосредоточенно отвязывал поводья, поправил сбрую, забросил поводья на луку и, наконец, подвёл кобылу к ней.

– Ей три года... Авра, – ученическим голосом, словно затверженный урок, произнёс он.

– Мы уже познакомились, – чуть улыбнулась девушка, делая ещё одну слабую попытку примирения.

Он сумрачно кивнул и хотел было отойти, но вспомнил, что без его помощи ей будет трудно сесть в седло. Вопросительно вскинул на неё глаза, но ничего, кроме того же ученичества, в них более не отразилось, прочно прижатое внутри самого себя. Перемена была настолько разительна, что девушка слегка даже закусил губу. Но и тотчас лукавая искра промелькнула у ней в глазах и отразилась на лице улыбкой.

Она сделала движение навстречу, как бы приглашая помочь. Коснулась левой рукой седла. Асамон слегка наклонился, подставив ступенькой по-юношески угловатую, широкую ладонь. Она нерешительно ступила на ладонь ногой, обутой в лёгкую сандалию, и ощутила сразу её каменную надёжность. Помедлив, опустила правую руку ему на плечо, и в этот момент край её трибона, конечно же, ненароком! случайно! распахнулся и мягко скользнул с бедра, обнажив его растерянным взором округлое, похожее на зрелый золотисто-розовый плод, колено. Она, конечно же, замешкалась, совершенно не замечая своей оплошности и лишь приносиваясь, чтобы половчее сесть в седло, и уже не только колено, но и часть бедра невыразимо прекрасных, безупречных линий, исполненных тайной, тревожной прелести, оказались открытыми перед самыми его глазами, так что, осмелюсь он вдруг, мог бы легко коснуться до них губами.

Смущённый, он не успел ни отвести



взгляд, ни подготовиться хотя бы внутренне к этому сокрушительному удару. А то, что это был именно удар, расчётливо нанесённый, удар по его независимости, он понял, когда девушка уже сидела в седле – по лукавой улыбке сверху вниз, в которой он безошибочно увидел её глазами свою глупую и потрясённую тайно подсмотренным зрением физиономию. В эти самые мгновения он понял – его невольный и грубый вызов был ею принят, и не только принят, но уже и наказан. Это было объявлением ему войны.

Он вдруг подумал, что для мира, в котором они живут, состояние войны естественно, как дыхание, и даже любовь неизбежно несёт её в присущих ей одной формах подавления и нередко уничтожения. Ах, какой чудной обещает быть эта война!

Асамон крепко ударил Коракса ладонью по крупу и уже на скаку с разбегу запрыгнул в седло.

Хриса была далеко впереди, и теперь только лёгкое облачко пыли стремительно катилось, как гонимое ветром, скрывая за собой и лошадь, и лихую наездницу. Дорога тянулась здесь вдоль склона холма и давала широкую петлю, огибая лошину, густо поросшую дикими зарослями маслины и чёрным тополем. Асамон решительно осадил жеребца и кинул его в сторону за обочину дороги, поспешно ныряя под мокрые ветви и припадая теснее к гриве. Вместе с конём не то сползли, не то обрушились по каменистой, крутой осыпи на самое дно лощины в туман и сырость, и Коракс легко вынес его по случайной тропинке вновь на дорогу на противоположной стороне.

Конский скак стремительно нарастал...

Асамон неспешно перекинул одну ногу через седло и даже скрестил лениво на голени руки, сделав вид, будто он ждёт и давно, и это занятие успело изрядно прискучить. Но, увы, роли своей до конца не выдержал, едва прекрасная амазонка ночной, призрачной тенью вылетела из-за поворота. Она великолепно держалась в седле, слегка откинувшись, полубоком, с прямою совершенно спиной, и не столько сидела, скорее скользила в свободном, стремительном полёте, едва касаясь седла и попустив за ненадобностью поводья. Тёмное, густое пламя волос яростно металось во встречном потоке, вздувался парусом широкий трибон, и тут же ткань опадала, прилипая к лошадиному крупу, вновь взмахивала крылом, трепеща и звучно хлопая на ветру.

Асамон мог поклясться, он не видел зрелища более прелестного за всю свою жизнь.

Его появление на дороге было для Хрисы полной неожиданностью. Синий огонь полыхнул ему в глаза, полный изумления и растерянности, и Асамон, казалось, мог бы торжествовать свою маленькую, коварную победу. Но восторг и немое обожание были мгновенно прочитаны в его зачарованном взгляде. Лукавая улыбка удовольствия расцвела на её разгорячённом скачкою, нежном лице и мелькнула мимо, унося заодно победу. Коракс в нетерпении дурашливо взбрыкнул задом и сам вымахнул вместе с хозяином на дорогу, выгибая шею и кося на него фиолетовым, влажным глазом. Асамон, поощряя, ударил жеребца пяtkою под селезёнку и отпустил свободно поводья. Тугая волна воздуха ударила в грудь, в лицо, и вскоре дробный перестук копыт отстал далеко сзади, не поспевая за стремительным бегом великолепного скакуна.

Дорога из холмов плавно спустилась вниз, в песчаную, широкую низину, и побежала среди зарослей колючей крушины и громадных, одиноко растущих со-

сен. Впереди показалась далёкая гряда гор, и к тому времени, когда утренняя Эос окрасила вершины нежным пурпуром, Хриса и Асамон остановили лошадей на берегу бурного Эриманфа.

Здесь, вдоль реки, пролегла граница между Элидой и соседней Аркадией – до впадения Эриманфа в Алфей. На противоположном берегу изрезанной, неровной стеной вставал хребет Савра.

Асамон отыскал глазами среди тёмных базальтовых нагромождений и скудной зелени святилище Геракла из светлого песчаника. Указал Хрисе. Ниже, он знал это из рассказов, была могила самого Савра, здешнего разбойника-людоеда. Говорят, что Савр грабил в этих местах путников и соседей, пока не получил должного возмездия от Геракла. После смерти Савра вокруг пещер, где он скрывался, пастухи находили ещё немало человеческих останков.

Всадники пересекли Эриманф вброд по перекату. Вода даже в самом глубоком месте не доходила коням до щёток, но была столь стремительна, что мгновенно вызывала приступ слабости и тошноты.

Обернувшись, Асамон увидел вдруг побледневшее лицо девушки с полуприкрытыми глазами, и ему показалось, что она вот-вот сползёт с седла в воду. Он гикнул, и умница Авра, исполняя команду, в два прыжка вынесла ослабевшую наездницу на противоположный берег. Асамон, перегнувшись назад, успел подхватить её за талию. Хриса качнулась в седле, выпрямляясь с видимым усилием, но не удержала равновесия и так же мягко, с покорностью привалилась всем гибким телом к нему. Он вдруг почувствовал в своей ладони сквозь грубую ткань трибона её упругую, нежную грудь и жаром вспыхнул до самых корней волос. Её лицо в паутине серебрящихся, тёмных локонов покоилось у него на плече перед самыми глазами. Таинственно и призывно поблёскивали жемчужной белизны влажные зубы. Полуоткрытый рот был ярче утреннего пурпура, разлившегося

уже в полнеба. Её губы, маленькие и нежные, как две созревшие, налитые сладким соком виноградины, казались прозрачными и просили, чтобы он отведал их нежный и терпкий вкус. И хотя глаза были закрыты, и лишь подрагивание длинных, тёмных ресниц выдавало признаки жизни и слабую её беспомощность, Асамон уже не сознавал себя. Стремительный Эриманф уносил прочь остатки его хладнокровия, голова кружилась, и, теряя рассудок, он прильнул страстно и быстро своими губами к её полураскрытому, зовущему рту, к влажным от прохлады зубам и с благодарным трепетом ощутил ответное, слабое движение её губ, лёгкий стон, то ли испуганный вздох и податливость гибкого стана.

Он не помнил, как долго длился их жаркий поцелуй, но Авра потянула неожиданно вперёд, унося из его объятий драгоценную добычу. Густой, длинный шлейф волос ещё струился по его плечу, искрясь, будто вода на быстром, пронизанном солнцем перекате.

На этой стороне Эриманфа, уже в Аркадии, дорога продолжалась и уходила дальше в горы. Но Хриса, не оборачиваясь, круто повернула кобылу вдоль берега вверх по течению, по едва приметной тропе, которая вскоре бесследно исчезла, теснимая со всех сторон подступающими к берегу скалами. Становилось всё темнее, и, казалось, Эриманф здесь уходит под землю, в царство мёртвых. Уже небо вверху, зажатое среди скал, напоминало узкую, извилистую трещину, ярко-синюю, как взгляд Хрисы, затем и трещина над головами, истончаясь, наконец, исчезла совсем, горы сомкнулись, и кипящая, гулкая мгла объяла их со всех сторон. Асамон бросил поводья и предоставил Кораксу самому выбирать дорогу в бурном, грозно ревушем лабиринте.

Неожиданно конь встал.

По звяку уздечки рядом и вытянутой шее Асамон понял, что Коракс остановился подле Авры, но сам разглядеть ничего не мог, и расслышать голос здесь было невозможно. Но он по-

чувствовал неуверенность Хрисы и желание держаться ближе к нему, хотя не был вполне уверен, что её желание не путает со своим. И медлил поэтому. Его ладонь ещё хранила вживе тёплый, тяжёлый объём её груди, горел на губах поцелуй, и волосы потоками струились по обнажённой, вздрагивающей коже. В то же время где-то на дне его смятенной души шевелилось жгучее чувство стыда и неловкости оттого, что он воспользовался беспомощным положением Хрисы и украл бесчестно не принадлежащее ему. Иначе чем можно объяснить, что оба они избегали смотреть друг другу в глаза, и мгновенно возникшую отчуждённость, едва она оправилась и пришла в себя? Асамон был даже рад сейчас этому рёву и гулу в обступившей их спасительной темноте.

Он пошарил рукой в том направлении, куда тянул мордой Коракс, и поймал кобылу под уздцы. Лошади с осторожностью двинулись вперёд.

Повороты следовали один за другим, и спустя какое-то время Асамону почудилось, будто вокруг становится светлее. Блики на скалах сделались живее, ярче, и светлые струи вскипали пенными бурунами вокруг лошадиных ног, едва Коракс ступал на мелководье. Всё ревело, бурлило и несло бешеным, светлым потоком назад под ноги, а тёмные, каменные громады по сторонам, когда он поднимал взгляд, напротив, казалось, кружатся и несутся вперёд в диком, стремительном танце.

Асамон вдруг спохватился, подумав, что Хриса, должно быть, чувствует себя отвратительно, когда даже на перекате у дороги она едва смогла держаться в седле. Он выбралил себя за беспечность и обернулся. Лицо девушки бледным пятном покачивалось в темноте в такт конской поступи. Он присмотрелся ближе и увидел, что глаза её закрыты. Коснулся руки – она была безжизненна и никак не отозвалась на прикосновение, словно у спящей, и Асамон с запоздалым страхом представил, что седло могло сейчас оказаться пустым. Он

не увидел бы в темноте и не услышал бы в грохоте и рёве её голоса, взывающего о помощи, и Хриса могла погибнуть, упав в воду. Сама мысль об этом, ярко разыгравшаяся в воображении, показала ему настолько ужасной, что забыв разом о недавних сомнениях, он на ходу пересел с Коракса на Авру сзади, и с поспешностью подхватил из рук Хрисы упавшие поводья. Разом ослабев, она прильнула к нему с благодарностью, и только страх за неё и досада на собственное безмыслие помогли Асамону справиться с охватившим волнением.

Вскоре, следуя течению реки, они выехали в долину, которая, несмотря на дикость местности, оказалась обжитой. У подножия скал лепились две жалкие хижины, похожие на груды серых камней. Небольшой клочок возделанной земли и пустующий загон для овец говорили о способах пропитания. Должно быть, тут обитали охотники либо пастухи, хотя на стук копыт и на голоса никто не вышел.

Асамон пересел вновь на Коракса. Тропа здесь была широкой и походила более на дорогу. По ней гоняли, видимо, в горы на пастбище скот.

Ему вдруг пришло в голову, что своей доверчивой слабостью Хриса незаметно и безжалостно сокрушила его мощные, как ему казалось, крепостные стены, воздвигнутые против её чар и ограничивающие её всевластие. Защитники стен были перебиты, а частью рассеялись, и противник беспрепятственно просачивался на опустевшие, безмолвные улицы, пинком отворял двери домов, выволакивал наружу без жалости оставшихся жителей, замшелых старух и плачущих детей, забрасывал в окна и на крыши пылающие факела. Город весь был объят губительным пожаром. Мало того, он замечал уже среди нашествия бывших его защитников, и число их множилось, они переходили на сторону противника и с радостью разрушали и жгли то, что ещё не было охвачено пламенем...

Дорога кружила среди дубрав, за-

бирая всё выше и выше. Он не знал, куда они направляются и почему оказались именно здесь, однако следовал за ней, не задав ни единого вопроса. Но Хриса с решительностью оставила дорогу и повернула Авру на какую-то заброшенную тропу, продираясь сквозь заросли кустарникового дуба и можжевеловые деревья с острым смолистым запахом. Асамону даже почудилось, видя в ней такую уверенность и гордую, сильную осанку, что недавняя слабость, быть может, не более чем притворство, своего рода военная хитрость, вроде ахейского дара неприступным троянцам.

Впрочем, он тотчас забывал о своих мрачных мыслях, которые сгущал даже намеренно, едва Хриса оборачивала к нему на скаку цветущее лицо и дарила беспечную, ослепительную улыбку.

Предгория кончились, и всадники оказались среди скал, покрытых елями и мастиковыми деревьями. Пробитая в скалах тропа кружила по бокам среди острых гольцов, упорно пробираясь все вверх и вверх. Затем узкой расселиной, грозящей осыпями с обеих сторон, объезжая завалы, всадники въехали под сень дубовых, пышных рощ, перемешанных с каштанами и темно-зелёными, стройными кипарисами. Тропа вскоре исчезла среди больших камней и густой травы, то ли запуталась в зарослях душистого тимьяна. Хриса растерянно закружилась на Авре, отыскивая потерянный след. Асамон не понял, для чего ей это нужно, но по цвету травы отыскал сразу то, что прежде было тропой, и двинулся впереди. Хриса немедленно усомнилась.

– Это тропа, действительно? А если нет?

– А если нет, то что тогда?

– Но я не вижу тропы.

Асамон рассмеялся.

– Кийяфа!

– Кийяфа?..

– Да. Древнее искусство бедуинов. Даже в знойной пустыне по признакам бедуин способен раздобыть глоток воды и утолить жажду. Он может отличить

след девственницы от следа женщины, познавшей мужчину, а след туземца от следа пришлого человека и узнать его племя. Посмотри внимательнее: там, где была тропа, трава растёт гуще, она иного цвета, чем та, которая на обочине. К тому же, на местах, некогда оставленных человеком, любит расти чертополох. Здесь трудно сбиться с тропы.

Хриса некоторое время молчала и вдруг рассмеялась низким, грудным смехом. Смех её показался Асамону неясен. Он бросил на девушку удивлённый взгляд и пояснил:

– Это Мегакл. Кое-чему он научил меня.

– Кое-чему, да.

Она отвернулась, но Асамон готов был поклясться, что в её глазах промелькнула лёгкая насмешка, и смысл её тоже показался неясен. В разговор, однако, вступать он не стал. Ему не в чем было упрекнуть себя, но в то же время ощущение её снисходительной правоты, правоты женского всевластного начала не покидало его. Оно существовало вне их, задолго до появления в этом мире любого из смертных как могучая, животворящая сила, и если мальчик в нём ещё сопротивлялся ей из детского, невинного упрямства, то мужчина склонялся с покорностью голове, и уготованное, сладкое рабство грезилось ему землёй обетованной.

Неожиданно деревья расступились, и тропа вынесла их на цветущий, прекрасный луг к развалинам древнего святилища. Серые, прямоугольные колонны сурово вздымались среди зарослей дикого инжира, перевитые густо плющом. Кровля давно обрушилась, и только задние помещения храма, вырубленные в скале, зияли пустыми углами, сообщая всему оттенок дикости и запустения. Но сохранился бассейн в боковой части храма. Он был полон хрустально чистой, почти невидимой глазу воды. Неумолимое время пощадило облицовку и само дно, выложенное искусно камнями трёх разных цветов в строгую мозаику. Упавшие листья кру-

жились и скользили по поверхности, и это говорило, что вода тут постоянно обновляется и утекает куда-то, не переполняя краёв.

Асамон обернулся к Хрисе. Она сидела на Авре, прикрыв глаза, словно прислушиваясь или внимая чему-то, но грудь её высоко вздымалась, и на губах дрожала странная, незнакомая ему прежде полуулыбка.

Он понял, что дальше они не едут, и сошёл с коня, бросая на девушку беспокойные, сумрачные взгляды. Она улыбнулась и протянула руку. Асамон взялся за стремя, чтобы придержать, но Хриса не позволила уклониться. Она мягко скользнула с седла в его объятия. На мгновение он ощутил в ладонях нежную округлость её бёдер и подвижный, гибкий стан. Её крепкий живот, словно драгоценная чаша, приник к его животу. Груды девушки ласково коснулись его щеки, и сквозь тонкую ткань, замирая сердцем, он угадал твёрдую упругость сосца. Кровь разом вскипела в жилах и ударила в голову. Ему показалось даже, что травы вокруг них взялись пожаром, но Хриса протекла сквозь его объятия, не задерживаясь, и было непонятно, как смогла она это сделать. Один плащ остался у него в руке, забытый, зацепившись краем за стремя.

Он смотрел ей вслед, как она шла. Травы волнами расступались перед нею, словно струи воды, но не никли под ногами, а подымались вновь. На ней была надета изящная эксомида цвета пламени, сшитая искусно из тончайшего тирренского полотна. Даже лёгкого движения воздуха было довольно, чтобы ткань всколыхнулась, живописуя очаровательные линии тела многочисленными складками. Солнце свободно сквозило в них, довершая картину.

Хриса обернулась. Он вдруг увидел её глаза совсем рядом со своими и от неожиданности отступил. Таинственная, зовущая синева будто притягивала, вбирала его в себя, и он с лошадьми в поводу покорно двинулся следом, грубо топчя траву, спотыкаясь и путаясь в корнях. Хриса переняла из его рук по-

вод и начала расседлывать Авру. Наконец, сбросила наземь тяжёлое седло со звякнувшими стремянами, подседельник и узкой ладонью ударила Авру по шелковистому, мягко отливающему крупу, отпуская на свободу.

Коракс завистливо заржал над ухом и поддел хозяина мордой, требуя того же.

Асамон спохватился и деревянными пальцами, путаясь в собственных узлах, взялся за упряжь. Хрису помогала ему с той таинственной полуулыбкой, смысла которой до конца он знать не мог и только угадывал в тревожных токах крови, в биении сердца и обвальном, пьянящем, многообещающем хаосе ощущений, никогда прежде не испытанных. Ему представлялось, что он стоит перед дивным, загадочным храмом, в котором ещё никогда не был, но и сейчас всего лишь робко топтался в преддверии перед распахнутыми, быть может, створами, не умея и не зная, как туда войти, не осквернив храм своим неуклюжим присутствием.

Он тронул девушку за плечо, чувствуя, что даже простое прикосновение к ней хмелем ударяет ему в голову. Хрису замерла, вздрогнув и выжидая его следующих действий с некоторым даже испугом. В этом первом с его стороны, намеренном прикосновении она вдруг угадала не мальчишку, который нечаянно и неожиданно даже для самого себя сорвал дерзкий поцелуй на переправе, но мужчину с его откровенным и грубым желанием. Она угадала это гораздо прежде, чем он сам, и почувствовала внезапный страх, как если бы кроме них, двух забавляющихся подростков, рядом появился кто-то чужой и враждебный и бесцеремонно влез в их игру.

Хотя в том, что чужой появился, есть прежде всего её собственная вина. Разве не она с изощрённой коварностью и лукавством, иногда невольно поддразнивала в нём этого чужака? Так любопытные зеваки, окружив клетку с хищником, забавляются, разглядывая страшные клыки, дразнят его, просовы-

вая меж прутьями палки, и умудряются даже подёргать за усы, пока кто-то вдруг не обнаруживает, что клетка не заперта, и хищник готов выйти наружу.

Асамон почувствовал этот её страх, но причины не понял и уже не мог остановить себя. Мягким, властным движением он привлёк её, слабо сопротивляющуюся, к себе и погрузил лицо в густую, непроглядную ночь её волос, с упоением вдохнул волнующие, таинственные, очаровательные запахи. Его губы с нежностью коснулись её виска, пылающей щеки, шеи, коснулись недоверчивых, полураскрытых губ, но волосы, обильно упавшие ей на лицо, смягчали его порыв, и он не посмел их откинуть, боясь пробудить то робкое и опасливое чувство, которое ещё угадывалось в ней и отторгало его. Он не пытался также удерживать её чрезмерно, хотя давалось ему это огромным усилием, но и не ослаблял свои объятия настолько, чтобы она вдруг ощутила свою ненужность, даже неуместность и не прекратила их с тайной обидой. И это тоже была война, как между охотником и добычей, которую он старательно и долго скрадывает, боясь вспугнуть неосторожным, назойливым движением. Древний инстинкт, вложенный в него изначально, ради успеха подчинял угрюмое мужское хотение разнообразным прихотям и причудливым капризам ускользающего женского начала.

Наконец, ему почудилось слабое, совсем ещё робкое движение навстречу, словно прислушиваясь и с благодарной нежностью он скользнул рукою в густые, тёмные локоны, губами отыскал её губы, они отозвались и – испуганно отпрянули в сторону. Но вскоре медленно, виновато возвратились и прильнули вновь с наслаждением и страстью не меньшей, чем та, какую испытывал он сам. Её прохладные, свежие зубы были у него на языке, и вкус их был ему слаще мёда диких горных пчёл и крепче самого крепкого вина. Её руки, ещё мгновение назад безвольно опущенные, он ощущал теперь на себе, они обвивали его, как дикие побеги плю-

ща влюблённо и буйно вьются вокруг ствола благородного лавра. Её гибкое тело не отстранялось более, но было податливо и послушно в его руках, и никакие объятия не казались теперь чрезмерными, и никакие прикосновения не смущали их, но требовали страстно продолжения. Добыча была теперь всецело в руках охотника, то ли сам охотник сделался отныне добычею.

Он осыпал её лицо, плечи пылкими поцелуями, находил ищущие, горячие губы, глаза, и она уклонялась, ускользала, отстранялась, едва ласки становились опасны и начинали кружить ей голову, но тотчас сама возбуждала их вновь и вновь, понимая мерцающим слабо сознанием, что благоразумие покидает их обоих, и уже не было сил сожалеть об этом.

Он опустился перед Хрисой на колени, как если бы ноги не держали его, и прижался пылающим лицом откровенно и страстно к её стройным, замершим в сладком трепете бёдрам. Жаркий поцелуй вспыхнул на её животе сквозь тонкую, полупрозрачную ткань, и невыразимое наслаждение ударом копья пронзило всё её тело и заставило содрогнуться. Она покачнулась, но он удержал её сильно, и губы его горели на ней жаркими цветами, и эти цветы, казалось, прорастали и распускались где-то внутри неё самой – цветы жгучего наслаждения, яркие кровавые розы – цветы Афродиты.

Прильнув бёдрами, животом к его лицу, губам, она ощущала страстный трепет, пробегающий по его телу и сотрясающий его, руки, прижимающие её, силу которых он сдерживал, чтобы не причинить ей боли, но и боль была ей сладка сейчас, и она ждала этого мига, предвкушая, желала, и её желания опережали его неопытную медлительность, ещё более возбуждая и разжигая в ней кровь.

Он медленно скользнул по ней, подымаясь с колен в рост, вжимаясь, растворяясь в ней, и она вдруг почувствовала его – бесстыдно, грубо и обнажённо на своём трепетном животе, но не испугалась, а задохнулась внезапным

и тёмным желанием, вспыхнувшим в крови. Сладостный стон исторгся из её уст, и она опустилась в его объятиях на поникшую под ними траву, на землю, мягкую от пышного клевера и трилистника, и разметала по ней роскошные волосы. Её глаза мерцали из-под опущенных ресниц, словно тлеющие жарко угли сквозь бронзовую решётку жаровни... И она приняла его, изогнувшись навстречу и содргнувшись упруго телом, и принимала с любовью и благодарностью, мешая крик боли и сладострастные стоны, страх с наслаждением...

* * *

Хриса лежала неподвижно, отворотив в сторону лицо, мокрое от тихих слёз, рассеянная, и он шептал ей на ухо ласковые слова, которые сами собой в изобилии рождались в его любящем сердце...

Её имя прекрасно, шептал он, на разные лады повторяя имя возлюбленной, и было видно, что звуки его ласкают ему слух. Но Хриса прекрасней своего имени. Лицо у неё – светлая луна – всегда у него перед глазами, хотя бы он держал их закрытыми. Нежный румянец, подобно утренней Эос, озаряет её чудные ланиты, а губы возлюбленной волнуют его, они похожи на живые пурпуровые кораллы, растущие на дне глубокой морской лагуны. Густые, синие глаза Хрисы напоминают ему чудесные озёра, полные влаги, посреди египетской Ливии, а он, бредущий в пустыне, одинокий странник, истомлённый жаждой, с великой радостью припадает к ним, пьёт их и не может напиться. Прекрасны волосы Хрисы, темны, словно бархатная, тихая ночь, пронизанная звёздами, но каждый волосок в них светится и отливает живым, юным блеском. Все вместе они причудливо свиваются в блестящие, роскошные, пружинящие локоны, а их запахи пьянят и лишают рассудка. Словно ловчие птицы, трепещут под его рукой прекрасные груди возлюбленной, а сосцы поднима-

ют разбегающуюся ткань и торчат под нею, как сторожевые башни под пологом ночи. Но вот он коснулся их, и трепет пробежал разом по всему телу Хрисы и заставил содрогнуться...

Она вначале с изумлением, затем с радостным ожиданием внимала его тихому, ласковому шёпоту, каждому слову, и слёзы скоро высохли у ней на глазах, а слабая, растерянная улыбка то исчезала, то вновь вспыхивала ему навстречу, и румянец удовольствия рдел на щеках всё ярче.

Иногда краска стыда заливала её прекрасное лицо, если слова, сказанные о ней, звучали слишком откровенно, слишком о тайном, и она прятала смущённые глаза у него на плече или закрывала лицо руками и долго не смела отнять их, пока любопытство не пересиливало стыда.

Его дыхание нежно ласкало ей шею, а губы, нашёптывая, касались то щеки, то маленькой розовой мочки уха, возбуждая в ней новое желание. Его рука покоилась у ней под грудью, она ощущала сквозь ткань жар его тяжёлой ладони, его вновь возникающее желание перетекало и пронизывало её, а шёпот становился сбивчивым, страстным, слова теснились на языке, мешая друг другу и путая нескладную речь...

...Они поднялись с травяного ложа другими. Солнце светило слишком ярко. Птичий щебет оглушающим звоном висел в воздухе. Гудели внизу пчёлы, и цветочный пёстрый луг кружился перед глазами.

Пошатнувшись, Хриса оперлась на Асамона, и они не скоро разняли руки, с изумлением вслушиваясь в себя и в окружающее мироздание. Асамону вдруг вспомнились вчерашние её слова, сказанные на Террасе Сокровищниц, и ему показалось, он понял их смысл. «Сегодня, – сказала она, – мне не нужны лишние подозрения». «Почему сегодня? – удивился он, не желая так скоро отпустить её. – Разве ты теперь не свободна?» «Завтра подозревать что-либо будет уже поздно».

Откуда-то неподалёку доносилось весёлое журчание воды, как если бы быстротекущий Эриманф решил не оставлять их наедине и следовал украдкой по пятам. Асамон вздел оба седла через плечо, повесил торбу, и, взявшись за руки, влюблённые тронулись на шум воды. Они пересекали луг, и цветущие травы осыпали им на грудь в изобилии светлую, оранжевую, жёлтую и зеленоватую пыльцу, держали их за одежды.

Из тисовой рощи вокруг развалин под ноги выбежала тропа. По ней они углубились в скалы и спустились скоро в живописную расселину, дивясь по сторонам, как удивительна и переменчива бывает природа хотя бы и в двух шагах. Шум воды вблизи превратился в гул. Горный поток, спускаясь с вершин, падал здесь с отвесной стены и превращался в небольшой водопад. Хрустальные струи разбивались о плоские камни миллионами сверкающих брызг, и яркая радуга висела над всем этим великолепием. Тёплый воздух был влажен, и они ступали мягко по колена в пышных, изумрудных мхах, ковром урывающих даже тёмные базальты и сухие, сыпучие известняки.

Асамон сложил с себя оба седла и торбу возле огромного, надвое треснувшего камня, так чтобы брызги и водяная пыль не достигали их.

Пока он укладывал сбрую, Хриса скинула с ног сандалии и с простодушием истинной спартанки, чьи нравы не отличаются чрезмерной строгостью и ханжеством, отстегнула золотые булавы с наконечниками из слоновой кости, скрепляющие на плечах ткань, сняла пояс, и одежда, струясь, упала к её ногам. Она переступила через неё и предстала перед ним нагая, с одной крохотной ладанкой на шее, обделанной золотом и цветными камнями.

Асамон замер в смущении и невольно потупил глаза, так ослепительна показалась ему красота его возлюбленной. Не скоро он насмелился вновь обратиться на неё взгляд и даже гул водопада перестал слышаться на время из-за того, что кровь толчками ударяла ему

в виски и глушила вокруг все звуки. Когда он пришёл, наконец, в чувство и оглянулся, то увидел Хрису стоящей в бурно низвергающихся со скал потоках воды. Хрустальные струи сверкали и переливались на ней расплавленным серебром, а тёмные волосы, подобно водорослям, трепало неукротимое течение.

Асамон опустился было на седло, намереваясь дождаться конца купания, но Хрису, сияя своей ослепительной наготой, оказалась вдруг подле и, взявши его за руку, увлекла со смехом, как он был, упирающегося, в одежде, в самую кипень и грохот и прижалась к нему всем телом, обвивая крепко руками. Вода оказалась ледяною настолько, что поначалу под бешеным её напором у Асамона перехватило дыхание. Холод пронзил его до самых костей. Но возлюбленная стояла так близко и так нежны, теплы были её объятия, что слепая стихия не могла остудить в нём пылающий пламень, но разжигала всё сильнее.

Он вынес Хрису на руках, свежую, холодную и благоухающую. Капли воды дрожали на ней подобно драгоценным кристаллам. Она походила в его руках на созревающий плод, весь озолоченный солнцем, румяный от холодной воды, которая стекала с его одежды и с облепивших обоих тяжёлыми плетями волос. Он долго стоял так, держа возлюбленную в объятиях, целуя, и не ощущал в ней веса. Но Хрису сама выскользнула из рук и ступила на землю.

Она чудесным образом переменилась с тех пор, когда Асамон впервые увидел её на Хоре, на празднике Гимнопедий. Угловатая прелестная незавершённая сменялась за год женственной округлостью линий, не утратив при этом прежней очаровательной грации. Он не увидел у неё на теле ни единого порока, ни единого даже маленького пятна, но любое её движение, плавный изгиб тела были исполнены для него неизбывного, страстного желания.

Словно в солнечных горячих лучах Хрису купалась в устремлённых на неё, зачарованных взорах возлюбленного и ощущала трепетной кожей их пылкие прикосновения. И это волновало её, делало ещё прелестней, и ещё ярче разгорался румянец у неё на щеках, блестели смущённой улыбкой её жемчужные зубы.

Мягким движением Хрису запрокинула руки и сняла с шеи тонкую, как паутина, золотую цепочку с ладанкой, усыпанной цветными камнями. Но это была не ладанка, а крохотный флакон искусной работы для заморских благовоний, которые отмеряются покупателю каплями, но оплачиваются обычно золотыми талантами, и даже человеческими жизнями. Этот флакон с его драгоценным содержимым был доставлен прекрасной спартанке из далёкой Аравии, из провинции, которая получила прозвание Счастливой благодаря торговле этим редким и дорогим товаром.

Ни в одной другой стране, кроме Аравии, не растут ладан, мирра, кассия и кинамомон. Но все эти благовония, за исключением мирры, аравитяне добывают с величайшим трудом. Чтобы получить ладан, они сжигают стирак, который ввозят в их страну финикийцы. Ведь деревья, дающие ладан (ладаноносная босвеллия), стерегут крылатые змеи, маленькие и пёстрые, которые ютятся во множестве вокруг каждого дерева. От этих деревьев их нельзя ничем отогнать, кроме как курением стирака. Так аравитяне добывают ладан, а чтобы добыть кассию, они обвязывают всё тело и лицо, кроме глаз, бычьими шкурами и разными кожами и в таком виде отправляются за ней. Растёт она обычно в мелком озере и вокруг него, а в этом озере водятся крылатые звери, очень похожие на летучих мышей и ядовитые. Они испускают громкие крики и стаями нападают на людей, которым приходится отгонять их и таким образом срывать кассию.

Ещё более удивительным образом аравитяне добывают кинамомон. Где оно растёт, и какая земля порождает

это удивительное растение, они и сами не знают. По их рассказам, большие, хищные птицы приносят эти сухие полоски коры в свои гнёзда, слепленные из глины на кручах гор, куда человеку добраться невозможно. И тогда аравитяне для добывания кинамомона придумали такую уловку. Туши павших быков, ослов и других выючных животных они разрубают на куски и привозят в эти места. Сваливши мясо вблизи гнёзд, они затем удаляются. А птицы слетаются и уносят куски мяса в свои гнёзда раз и другой, и третий, пока гнёзда, не выдержав тяжести, не обрушатся на землю. Тогда люди возвращаются и собирают добычу.

Но и это была только часть тех веществ, которые составляли содержимое крохотного флакона. Благоуханные масла десяти сортов – фиалки, лотоса, нарциссов, карликовой пальмы, белого жасмина, лилий, мирты, майорана и померанцевой корки в строго отмеренных долях придавали снадобью тот изысканный аромат и силу, ради которого тысячелетиями брели караваны верблюдов, корабли бороздили просторы морей, гибли люди.

Хриса отняла крышку с вделанным в неё драгоценным камнем, и густая, янтарного цвета капля задрожала у ней на пальце, расточая вокруг тонкий, волшебный запах. Она провела себя ладонью меж грудей, и ноздри её наполнились сладкой негой. Томная дымка медленно заволокла прекрасные глаза Хрисы. С дрожащей на губах улыбкой она протянула драгоценный флакон возлюбленному, и он радостно вспыхнул, угадывая её желание. Они молча опустились на изумрудный, пышный ковёр из вечнозелёных мхов, и Асамон с бесцеремонным неведением варвара вылил содержимое флакона себе на ладонь. Затем, встав на колена и замирая сердцем, он прижал её к груди возлюбленной, так что янтарные ручейки, благоухая, поползли из-под ладони в стороны по мягкой, словно лист мастикового дерева, и нежной, как сирийские шелка, коже.

Не желая потерять ни одной капли драгоценного масла, Асамон медленно провёл рукою вниз по трепетно вздрогнувшему животу, по упругим, золотистым от солнца бёдрам возлюбленной, вокруг тонкой, чувственной талии.

Лёгкие, скользящие прикосновения его ладони возбудили в ней сладкую истому, а когда он коснулся тяжёлых, словно драгоценные чаши с яркими рубинами, замерших в ожидании грудей, крупная дрожь пронзила прекрасное тело Хрисы, и с уст сорвался сладострастный, мучительный стон.

Томясь желанием, Асамон сорвал мокрый после купания хитон и вылил последние капли из флакона на себя. Растёр их, чувствуя, как волшебное зелье горячо проникает через кожу в кровь, сладко кружит голову. В помрачённом сознании ещё скользнула слабая мысль, что едва ли простым смертным подвластно составление таких чудодейственных снадобий, но он не успел додумать начатого. Безумная страсть внезапно обуяла обоих, столь опрометчиво злоупотребивших содержимым флакона, и бросила со стенами в неистовые объятия друг друга...

Сама прекрасная Афродита, должно быть, изощряла их в божественном искусстве любви, в разнообразии ласк и способов, как извлечь наслаждение, не доступное простым смертным. Для того она лишила их рассудка и чувства стыдливости, ибо неопытность их была очевидна. Неистовые ласки влюблённых, должно быть, очень веселили любвеобильное сердце богини, и, распалая страсть, она тайно внушала прекрасной спартанке всё новые и новые из своих удивительных секретов, которые знала, быть может, она одна. Повинуясь её коварным советам, Хриса змеёю многожды страстно обвивалась вокруг тела возлюбленного, оплетала его ноги, подбные мраморным колоннам, для него распускала свои нежно-розовые, чудные цветы. Опрокидывалась золотою лягушкой на изумрудной болотной ряске, оглашая сладострастными стопами

окрестности. Игривой львицей припала на колена, с неистовством отдаваясь возлюбленному. Падала на него из поднебесья, как падает ловчая птица на мелькающего по низким кустарникам пушистого лисёнка, то превращалась сама в погибающего, но не от страха, а от неистой любви весеннего зверя, и страсть её была столь велика и неукротима, так искусно она возбуждала в возлюбленном всё новые и новые желания, что становилась для них обоих погибельна.

Но натешилось, должно быть, лицезрением чужой страсти сердце златокудрой Киприды, и она с улыбкою оставила их.

Оглушённые, они пали ниц друг подле друга, остывая и медленно приходя в рассудок. Все стыдные подробности коварная память теперь возвращала им одну за одной, и они ужасно смутились вдруг и не знали, как смотреть другому в глаза, с поспешностью отворачивали лица в сторону. Случайно их робкие взгляды, брошенные украдкой, встретились и застыли в испуге, но... лукавый изгиб губ, искра, мелькнувшая в глазах, – и они весело враз расхохотались, а затем с удвоенной страстью набросились друг на друга, и теперь уже сама Афродита с изумлённой улыбкой могла наблюдать упражнения своих несомненно способных учеников, усвоивших все её уроки.

...Потом они лежали друг подле друга, нагие, и Хриса возложила на голову возлюбленного лохматый веночек из листьев дикого винограда и сонных соцветий пассифлоры. И взялась плести другой из медвяно-сладкого лотоса.

– Растения тоже любят друг друга, – шептала она, вдыхая чудесные запахи. – Мне рассказывали, что среди финиковых пальм одни считаются мужскими, а другие женскими. И вот мужская пальма любит женскую, и, если они растут далеко, дерево склоняется в сторону любимой. Или засыхает от тоски. Опытный садовник, понимая горе дерева, может излечить его страдания. Он берёт черенок женской пальмы и

прививает его к сердцу пальмы мужской, облегчая душу растения, и оно оживает, наливаясь соком.

Она посмотрела Асамону в лицо и с тревогой в голосе спросила:

– Почему ты молчишь? У тебя такие печальные глаза.

Он улыбнулся ей.

– Тебе показалось. Но взгляни на этот огромный камень. Видишь, он треснул и раскололся надвое, а из трещины растёт плющ и поднимается по дереву всё выше.

– Да, но что же тут необычного?

– Камень треснул не сам. Ветер занёс в его поры семя плюща. Из семени взялся нежный росток и разорвал глыбу надвое.

– Слабый росток? Но разве такое возможно? – не поверила Хриса.

– У отца каменоломни на севере Аттики, и я однажды был там. Те глыбы, которые не берёт кирка, каменщики взламывают, подсаживая семя плюща. – Он взял её руку и прижал ладонью к своим губам. – Я и есть тот злополучный серый камень.

– А я?

– Ты слабый зелёный росток.

– И поэтому ты печален? Потому что треснул, да?

Асамон рассмеялся, но невесело.

– Ты права, милая Хриса, – несколько помедлив, отвечал он. – Я не сказал тебе всего, о чём думаю, и не потому, что хотел скрыть. Просто я слишком счастлив. Мне трудно выразить это словами, но когда ты ушла, чтобы собрать для венка виноградные листья, эти цветы в твоё отсутствие перестали для меня пахнуть. Но мне чудится, нельзя быть всегда таким счастливым. Счастье недолговечно, а такое, как у меня – оно существует лишь для того, чтобы быть вскоре безжалостно разрушенным. Не знаю, почему, но во время варварских нашествий и междоусобиц самый прекрасный храм в городе всегда гибнет первым.

Он запнулся, но Хриса не перебивала его.

– Мне не верится, что всё это не

есть сон и не закончится, стоит мне закрыть глаза.

Хриса запечатлела на его щеке нежный поцелуй.

– О, мой милый, мой возлюбленный! Мы не станем с тобой просыпаться, пусть наш сон длится вечно! – прошептала она, возобновляя прежние ласки и желая отвлечь его от печальных мыслей.

...Много раз ещё они наслаждались своей любовью и не могли насытиться ею. Хриса была щедра и смела в любви, но уже солнце наливалось пурпуровой краской и клонилось к закату, и от усталости под глазами у обоих легли серые тени. Пришла пора трогаться в обратный путь.

Не подымаясь с ложа, Асамон прокричал коней. Гулккое эхо разнесло, удесятерив, его ослабевший от любовных утех, изрядно охрипший голос.

Топот лёгких копыт известил вскоре, что зов был услышан. Он поднялся навстречу и упал бы, наверное, от слабости, не ухватись вовремя за гриву Коракса. Хриса смеялась до слёз, глядя на эти его усилия, но и самой ей понадобилась немалая помощь, чтобы подняться и кое-как утвердиться на безвольно подгибающихся ногах. Так, со смехом, потешаясь друг над другом, они взнуздали Авру, и Хриса с помощью возлюбленного, который, напрягая остатки сил, подсаживал её снизу, взобралась, наконец, на лошадиный круп. Но едва она села, оба с изумлением обнаружили, что забыли положить на кобылу седло, оно так и осталось лежать на земле.

Это обстоятельство рассмешило их пуще прежнего. Но не успели они отойти от веселья и перевести дух, оказалось, что Хриса сидит на кобыле задом наперёд и вдобавок совершенно нагая, ибо забыла надеть на себя одежду.

Новый приступ веселья оказался столь заразителен, что и Авра не выдержала, наконец, и с игривостью взбрыкнула задом. Хриса в испуге ахнула и, чтобы не свалиться, ухватила левой рукою за хвост, под самую репи-

цу. Но смех морил её, и волосы падали на глаза, мешая видеть. Она откинула их рукою, и...

Асамон увидел перед собой вакханку!

...Совершенно нагая, она восседала на огромном, взбрыкивающем козле, отлитом из тёмной меди. Задом наперёд, ухватившись одной рукою за нечистый хвост, а другой откидывала с безумных глаз разметававшиеся в полёте волосы. Всё в её фигуре дышало пороком и кричало о неприличии. Чрезмерные груди вразлёт с торчащими сосцами. Бёдра, лишённые девичьей стройности из-за чрезмерных возлияний. Расплывшийся зад, открытый в прыжке для нескромных взоров во всех сокровенных подробностях. В её распушенности и непотребстве мгновенно угадывалось животное упоение жизнью, её мимолётными радостями, пусть даже весь мир обрушится в Тартар!

Пандемос Афродита...

Асамон отшатнулся, но немота затворила изумлённый возглас ещё в груди, будто в клетке, а неподвижность сковала на мгновение все его члены.

Словно со стороны он услышал свой хриплый, неискренний смех. И замолчал, нахмурясь. Но тотчас, желая скрыть от Хрисы своё состояние, поспешил заняться торбой. Развязал горловину и выложил на камень скудный припас, захваченный им впопыхах в дорогу: ячменную лепёшку, кусок козьего сыра и пригоршню сушёных фиников. Поделил весь припас на две равные доли. Но не спешил обернуться. Великая смута поселилась у него в сердце, порождённая вдруг ужасным подозрением. Много из того, что прежде казалось ему неясным, теперь находило свои объяснения. Асамон вспомнил короткий разговор между ними, когда он попытался объяснить Хрисе, что такое кийяфа. Некоторое время она молчала и вдруг рассмеялась грудным, низким смехом. Он бросил на неё удивлённый взгляд и пояснил:

– Это Мегакл. Кое-чему он меня научил.

– Кое-чему, да.

Она отвернулась, но Асамон готов был поклясться, что в её глазах промелькнула лукавая насмешка, и смысл её тоже показался ему неясен. Но теперь – он готов был провалиться от стыда. Слишком явные признаки во множестве были расставлены на его пути, чтобы он, познавший древнее искусство кийяфы, ничего в них не разобрал.

Вчера на Террасе, когда он остался один, он обнаружил вдруг, что не в силах вспомнить её, хотя угадал бы тотчас присутствие Хрисы в тысячной толпе. Её волосы переливались серебром и незаметно перетекали в ночь, и были продолжением той чудной ночи. Теплом её узкой ладони дышали нагретые за день камни. Её тихим голосом, её шёпотом шелестели из темноты древесные кроны. Она не просто ушла, а исчезла, как исчезает шлейф дыма, изорванный в клочья порывами ветра, а он не мог проследить её даже взглядом. Она продолжалась для него вся во вселенной и не имела той целостности в восприятии, как обычная смертная женщина.

Теперь она сама открыла ему истинное лицо, и, стало быть, всё с самого начала было только игрою с её стороны – робкое томление, краска стыда на смущённых ланитах, девичий трепет и вскрик боли, первый сладкий стон? Опытная блудница, изощрённая в искусстве любви, она исхитрилась изобразить перед ним невинность, чтобы с тем большим сладострастием предаться безудержному, бесстыдному, неистовому прелюбодеянию, какого простой смертный вынести не в силах и, если останется жив, то «...живой между смертных жить остаётся, силы лишённый. Ведь силы навеки теряет тот человек, кто с бессмертной богиней ложе разделит».

Асамон обернулся. Хриса показала ему ещё прекраснее. Она восседала на Авре с неподражаемой, божественной грацией и с любопытством, молча наблюдала за ним сверху вниз. Нежность охватила его сердце, и он на

миг усомнился в своих подозрениях. Пусть, кто бы она ни была, он благодарен ей за этот щедрый дар и никогда ни о чём жалеть не станет.

Жестом Асамон предложил разделить с ним трапезу, и Хриса с готовностью протянула руку...

Обратный путь они проделали в молчании. Их кони летели по дороге во весь опор, как две чёрные молнии, на красный, в полнеба полыхающий закат. На въезде в Олимпию, огибая лощину вдоль склона холма Кроноса, Асамон придержал стремительный бег скакуна и повернул голову. Авра бежала рядом, но седло...

Седло было пусто!

В смятении Асамон осадил Коракса, подняв круто на дыбы, и повернул в обратную сторону, до того места, где видел Хрису в последний раз. Но дорога была пустынна, и он, наконец, оставил поиски.

Едва держась в седле от внезапно навалившейся усталости, он кое-как добрался до конюшни и сдал коней попечением рабов. Со стороны гипподрома доносился грохот колесниц и рёв многотысячной толпы, но силы оставляли его, и он был готов свалиться здесь же, на охапке душистого сена, однако успел вовремя сообразить, что едва состязания закончатся, на конюшне начнётся столпотворение, и ненароком, спящего, его могут попросту раздавить. Покои отца в Притании – самое тихое место, где он сможет, наконец, забыться спасительным сном.

Собрав остатки сил и с трудом волоча ноги, Асамон побрёл в сторону Пританея. Но не успел он сделать и десятка шагов, как сзади его окликнули:

– Господин!

Он обернулся. Зеленоглазая фракиянка спешила за ним, направляясь от ворот конюшни. Лицо девушки показалось ему встревоженным.

– Гелика? В чём дело?

– Господин, я разыскиваю тебя весь день. С утра. Госпожа очень беспоко-

ится, не случилось ли худого? И постоянно посылает меня.

Асамон встрепенулся.

– Ты... ничего не путаешь?

– Путаю?

Фракиянка явно не понимала его, и он жестом просил продолжать.

– Госпожа велела передать тебе, она очень виновата и просит прощения, что не смогла быть утром в назначенном месте. Её вынудили к этому обстоятельству. Но она сама всё расскажет, если господин не сердится и готов быть завтра в том же месте.

– О боги!

Асамон отшатнулся, как от удара. Но, видя, что Гелика смотрит на него с недоумением, даже с опаской, с трудом взял себя в руки.

– Да, конечно. Завтра, – и, не добавив больше ни слова, ни о чём не спрашивая, повернул прочь.

Колесницы

Вечер. Святилище Деметры Хаминны словно пронизано насквозь красноватыми, солнечными лучами. Оно венчает собой невысокий, в каменистых осыпях холм, вдоль подножия которого на четыре олимпийских стадия протянулся ипподром. Одним своим концом олимпийский ипподром упирался в галерею Агнапта, другим – в каменистый, плоский берег реки Алфей. Четвёртая, самая длинная сторона ипподрома – земляная насыпь – тянулась параллельно склону холма и ограничивала дромос, место бега, в виде неправильного, вытянутого в длину четырехугольника.

Напротив левого конца галереи Агнапта в дни игрищ дымился жертвенник Аресу Покровителю коней, на другом конце таких же размеров – жертвенник Афине Покровительнице коней. От этих жертвенников цепью протянулись стойла, одно чуть впереди другого, образуя перед галереей Агнапта прямой угол, остриё которого было направлено к дромосу. Обе стороны угла

содержали по двадцать стойл, и каждое стойло свободно вмещало по две колесницы.

Посреди этого треугольника, который назывался Корабельным Носом, каждую олимпиаду элейцы, устроители состязаний, воздвигали из необожжённого кирпича жертвенник Посейдону Покровителю коней и снаружи обмазывали золой. На краю жертвенника, углом подняв плечи и словно готовясь взлететь, восседал бронзовый орёл.

Над ипподромом, подобно гулу морского прибой, возбуждённый говор многотысячной толпы зрителей, конское ржание, окрики, хлопанье бичей и – резкий голос трубы, оповещающий о конце бега. Наездники в коротких хитонах круто осаживали разгорячённых скачкою лошадей, роняющих хлопья пены, и гарцевали на месте. Другие торопливо спешивались и укрывали своих скакунов попонами.

Тем временем к состязаниям готовились колесницы...

Издавлек Корабельный Нос напоминал растревоженный муравейник. Двое обнажённых рабов, взявшись за дышло, катили за собой богато изукрашенную, сверкающую медными поручнями колесницу. Чей-то возничий пронёс на голове аккуратно уложенную упряжь, и длинный, витой бич, брошенный через плечо, волочился далеко сзади, извиваясь, словно гадючий хвост. Другой возничий на пару с помощником гонял по кругу заартачившегося жеребца, а жеребец, наливая кровью глаза и бешено всхрапывая, вставал на дыбы или рвал в сторону. Некоторые из хозяев самолично участвовали в подготовке своей колесницы к бегам. Они отличались от остальных богатой одеждой и благородством осанки, их голоса звучали твёрже, походка уверенней, но приказы, которые они отдавали, их возницы выполняли по-своему. Рабы, приставленные к лошадям, тоже покорно склоняли головы и ели хозяина глазами, но делали то, на что указывал возница, а хозяину лишь докладывали об исполнении.

Возле стойл показалась суетливая

фигура Дамасия. Как и прочие хозяева колесниц он был богато одет, на его ногах рдели пурпуром красные сандалии, роскошный гиматий был небрежно обёрнут вокруг плеча. Дамасий кого-то разыскивал, заглядывая по очереди в каждое стойло. Там, меж коней, заметив чью-то спину, он терпеливо ждал, пока тот не обернёт к нему своё бородастое, изрытое оспинами лицо. Увы, не то! Дамасий с поспешностью отводил глаза в сторону и шёл дальше.

На земляной насыпи, напротив дальней меты, обозначающей место поворота, стоял Ужас Коней, или Тараксипп. В Олимпии он имел вид круглого, ничем не примечательного жертвенника. Но когда колесницы проносились мимо, коней без видимой причины охватывал сильный страх, они приходили в смятение, колесницы сталкивались, опрокидывались, калечили возниц.

К этому жертвеннику, сильно прихрамывая на своей деревяшке, приближался седовласый возница по имени Превген, один из тех, кому предстояло участвовать сегодня в состязаниях колесниц. Бронзовое от солнца лицо его было сосредоточено. Он остановился и долго стоял так перед Тараксиппом с опущенными руками. Затем медленно и осторожно опустил на колено, неловко отставляя правую ногу с деревяшкой в сторону.левой, вытянутой рукой он коснулся собственного колена, а правую положил на грудь к горлу, что у греков означало мольбу.

– Тараксипп, – хрипловатый голос Превгена прозвучал глухо и строго. – Отцом твоим тебя заклинаю, ты тоже был возничим когда-то. Не вреди мне. Не пугай коней. Ход не сбивай. Что тебе пользы в том? Ты слышишь? Здесь из-за тебя я уже потерял ногу. Доколе можно? Оставь в покое меня.

Возничий Превген опустил седую голову на грудь и так стоял неподвижно, словно ожидая ответа. Потом неторопливо, ибо боги и герои не любят, когда к ним обращаются всуе, он вытаскивал из-за пояса нарядный арапник и возложил к подножию жертвенника.

– Прими это.

Опираясь руками оземь, возница неловко поднялся с колен и двинулся прочь.

Много разных мнений существовало о Тараксиппе. Одни считали, что это место – могила местного уроженца Оления, превосходного наездника. По его имени также названа в Элиде Оленийская скала. Другие – что это могила Дамеона, сына Флиунта, участвовавшего в походе с Гераклом против Авгия и элейцев. Сам он и его конь были убиты тогда, согласно преданию, Ктеатом, сыном Актора, и могила эта является одновременно могилой для Даимена и для его коня.

Говорили также, что в этом месте Пелопс насыпал пустой погребальный холм в честь Миртила и приносил жертвы ему, надеясь смягчить гнев царского возничего за убийство. Он и назвал его Тараксипп, Ужас Коней, потому что благодаря хитрости Миртила, кобылы Эномая в этом месте испугались и понесли. По другим рассказам, сам Эномай приносит несчастье едущим на лошадях по дромосу. Но далеко не все разделяли и это мнение, а подобное обвинение возводили на Алкафа, сына Порфаона, убитого Эномаем за его сватовство к Гипподамии и погребённого здесь. Алкаф, утверждали они, не имел счастья на дромосе и поэтому стал злобным по отношению к наездникам, злым роком.

Известно также мнение некоего египтянина, служителя при оракуле Аммона в Ливии. По его утверждению, Пелопс получил от фивянина Амфиона какую-то вещь, чудодейственного свойства, и зарыл её в том месте, где ныне Тараксипп, и от того, что там было зарыто, испугались лошади у Эномая и перевернули колесницу. С тех пор они пугались у всех. Этот египтянин утверждал, что Амфион, как и фракийский Орфей, был могучим магом, и что на их песни – к Орфею сходились дикие звери, к Амфиону – камни, из которых он воздвиг стены Фив. Поэтому Тараксипп – дело рук Амфиона.

Однако большинство из тех, кто рассказывал про Тараксиппа, считали это прозвищем Посейдона Гиппия, Всадника, потому что на гипподроме в Истме тоже имеется Тараксипп и тоже наводит на коней страх, а в Немее, в Аргосской области, никогда не было такого героя, который вредил бы едущим, но скала, поднимающаяся у самого поворота ристалища, красного цвета, блестящая, как огонь, внушает страх лошадям, и значит, это общее свойство во всех подобных местах.

Но Тараксипп в Олимпии много зловреднее прочих и гораздо больше пугает лошадей. В этом мнении сходились все без исключения местные жители.

...С двумя жеребцами в поводу на территории Корабельного Носа появился Главк, молодой, но уже многоопытный возница. На нём, как и на остальных, был надет тонкий до пят хитон, через плечо на перевязи – широкий нож и хлыст. Многочисленные складки одежды изящно подчеркивали его гибкую, сухую фигуру. Главк заметил Дамасия, и лицо его сделалось угрюмым. Оглянувшись по сторонам, Дамасий с озабоченным видом поспешил ему наперерез и остановился, делая вид, как будто уступает дорогу.

– Наш уговор, ты помнишь? Я плачу тебе шесть мин серебром. И две рабыни. Целых шесть мин, – скороговоркой зашептал Дамасий. – Мой возница, ты знаешь его, Ксенарх. Ты должен уступить.

Главк угрюмо кивнул и отвёл глаза в сторону. Оба жеребца, гнедые, в белых чулках, с длинными, эластичными бабками и шелковистой, короткой шерстью, словно во сне, проплыли перед Дамасием. Он с досадой и завистью проводил их взглядом и, расстроенный, отправился к стойлу, где Ксенарх и двое рабов запрягали его колесницу. Здесь Дамасий с наслаждением сорвал досаду на рабах.

– Бездельники! Дети свиньи и обезьяны! Они всё ещё копаются. Не-ет, они разорят меня... Что, пёс вонючий?!

Дамасий поднял плетё, чтобы ещё раз вытянуть безмолвного раба вдоль

спины, но пыл его прошёл, и он с ворчанием обернулся к Ксенарху.

– Где пристяжные? Почему не ведут? – Он внезапно задумался и, вспоминая, с досадой пощёлкал языком. – Ах, какие кони, какие кони! Ливийцы, чистокровные ливийцы!

Ксенарх перебил его мысли.

– За пристяжными я послал, хозяин. Ведут.

Через два стойла от них, из третьего, вышел возница и взялся подвязывать своему жеребцу хвост под самую репицу. На голове возницы жгутом был стянут белый платок. Длинный крючковатый нос, крепкие челюсти делали его похожим на хищника. Дамасий тотчас притянул Ксенарха к себе и ткнул в сторону возницы арапником.

– Ты знаешь, кто эта разбойная рожа? Это Кревга, трижды будь проклят он и его семья. Он режет нос, вот так... перед самой метой, – Дамасий изобразил руками, как одна колесница режет нос другой. – Колесо в столб – и всё. Конеч. Стереги, не дай обойти на повороте, иначе, о боги! Я видел не раз...

– Я знаю Кревгу, хозяин, – не слышным учтиво перебил Ксенарх и повернулся к нему спиной.

Со стороны конюшен появились двое рабов с пристяжными. Ксенарх издали взглянул на них, но внезапно, нахмутив брови, двинулся навстречу. Один из жеребцов явно прихрамывал. Дамасий, ещё не понимая толком, в чём дело, поспешил следом. Но возле жеребцов хромота сразу бросилась ему в глаза. Он с воплями оттолкнул Ксенарха, ударил наотмашь раба и сам, напрыгаясь, потянул жеребца за недоуздок, пытаясь разглядеть, на какую ногу жеребец хромотает.

– Собаки, дети шакалов, я выколю вам глаза! Всем! Подлецы, что они со мной делают?.. Левая пристяжная, лучший мой жеребец, о боги, охромела!

Ксенарх хмыкнул и начал со тщанием осматривать левую заднюю. Его пальцы заботливо ощупали бабку, сухожилия. Сзади, разом вспотевший, всплокоченный, задышал в спину Дамасию.

сий. Ксенарх взялся за копыто, поднял лошади ногу. Всё в порядке, но копыто было горячее.

– Копыта горячие, хозяин.

– О боги!

Пальцы Ксенарха поднялись до колена, выше... Дамасий, не выдержав, подскочил вновь к рабу и взмахнул плетью.

– Грязная тварь, живо на конюшню. Авру сюда! Запорю!

– Не нужно, хозяин. Вот она.

На внутренней стороне бедра, почти в паху, пальцы Ксенарха нащупали твёрдую головку. Он потянул, и в пальцах у него оказалась длинная, почти в четыре дактила медная игла. На шерсти выступила капля крови. Дамасий схватился за голову.

– О! Кто это? Кто мог?! – мимоходом Дамасий вырвал у Ксенарха иглу и сунул рабам под нос. – Кто? Кто подходил? Когда? Где были вы, скоты? Ну?!

– Не знаю, хозяин, – один из рабов, посмелее, мотнул головой.

– Может, ты сам воткнул, а?!

– Нет, хозяин.

Ксенарх тронул жеребца за недоуздок. Хромота исчезла.

– Всё в порядке. Злее будет.

Он ласково потрепал жеребца по храпу, и тот признательно потянулся к нему губами.

– Ну, ну... балуй!

– Но кто, кто? Когда? Клянусь Зевсом, я посажу его в яму! Сгною!

– Загнать иголку в мышцу можно мимоходом. Но дело не в том. Тебя считают за серьёзного соперника. Так всегда бывает.

– Гм? Это да, конечно. За серьёзного... А что, Ксенарх? Как ты, того... хороши ли у меня лошади? А?

– Лошади хороши, – рассеянно отвечал Ксенарх, заводя пристяжных в стойло. – Таких здесь немного.

– А чем же они хороши, по-твоему? – самодовольно продолжал Дамасий, но, так и не дождавшись ответа, выглянул из стойла наружу, с подозрением оглядывая всякого, кто попадался ему на глаза.

Громкий, жизнерадостный смех привлёк его внимание. К пусковому барьеру приближалась группа афинских молодых аристократов. Все они были роскошно, по-праздничному одеты, но среди них тотчас выделялся фигурой и осанкой великолепный Менесфей, сын Кимона. Он на голову казался выше других, чёрные волосы свободно падали кольцами вокруг крепкой шеи, с его плеча роскошными складками ниспадала хламида, схваченная на груди огромной золотой фибулой. На ногах юноши красовались высокие котурны для верховой езды, тоже отделанные золотом. Следом двое рабов с двух сторон вели под уздцы его великолепного вороного скакуна, отливающего мягкой синевой.

Ксенарх тоже, заслышав смех, оторвался на мгновение от лошадей и повернул голову.

– Ты знаешь, кто этот молодчик? – ухмыльнулся Дамасий. – Любимец богов Менесфей, побочный сын самого Кимона. И я, хе-хе, догадываюсь, чего он добивается. Он претендует на архонтство в Афинах, а чтобы набить себе цену, ему нужна победа здесь, в Олимпии...

Голос трубы оборвал его слова. Дамасий прикрыл глаза и молитвенно вскинул руки к небу, забыв, что в правой руке у него арапник.

– Всё готово, хозяин. Можешь проверить.

Ксенарх повязал на передней скобе вожжи и отошёл в сторону. Дамасий деловито оглядел всю упряжку, слазил жеребцам под брюхо, подёргал подпруги, ощупал серебряные бляхи и нагрудники, нул пару раз в ступицы и пошатал чеки. Всё было как нельзя лучше.

– Мда, да, да, – довольно повторял он. – Конечно. И сколько же колесниц нынче будет? Много ли?

– Около полусотни, хозяин.

– Гм? Да, да...

Дамасий благоговейно погладил блестящие скобы и, наконец, взгромоздился на колесницу. Глаза его разгорелись, он чуть присел на ногах, как при быстрой езде, и даже взмахнул арап-

ником, но тотчас сник с лица и с помощью Ксенарха спустился обратно на землю. На глазах Дамасия блеснули слёзы завязатого, но уже ни к чему не способного лошадника.

Снова звенит труба!

Бронзовый орёл на жертвеннике Посейдону Покровителю коней медленно поднялся над жертвенником, расправляя тяжёлые крылья. Одновременно с ним нырнул и ушёл в землю бронзовый дельфин, укрепленный на столбе в самом острие Корабельного Носа. Шум на гипподроме усилился, зрители, стоя, рёвом и свистом выражали своё нетерпение. Дамасий, всё ещё растроганный, прижал Ксенарха к себе.

– Да помогут тебе боги, Ксенарх.

При звуке трубы верёвка, натянутая перед крайним стойлом пускового барьера, упала, и первая колесница, тускло сияя в лучах вечернего солнца, выкатилась на стартовую полосу и остановилась подле поворотной меты. Глашатай громовым голосом провозгласил имя владельца лошадей. На другом конце гипподрома эхом дважды его слова повторили другие глашатаи.

– Ампик, сын Пелия из Эгины, владеет колесницей! Возничий Симон!

Упала верёвка перед вторым стойлом, и следом за первой колесницей выкатилась вторая, становясь рядом.

– Андрокл, сын Кодра из Эфеса, владеет колесницей. Возничий Фрадон!

Поднялся на колесницу Ксенарх, взял в руки вожжи, стрекало и обернулся к хозяину...

Поднялся на колесницу Главк...

Седовласый возничий неловко взобрался на колесницу, неловко просунул свою деревяшку в ременную петлю и укрепил её в специальном гнезде на дне кузова.

Уже более половины колесниц, запряжённых четвёрками лошадей, выстроились на старте. Обычно наибольшее число зрителей скапливалось на склонах холма и на насыпи, напротив поворотных мет. Именно на этих участках гонки протекали в самой опасной и жё-

стойкой форме. Проводив Ксенарха, Дамасий оказался вскоре в густой толпе зрителей. Проталкиваясь вперёд, он опытным взглядом выискивал среди прочей публики равных ему по имущественному положению, пока не столкнулся нос к носу с плотным, весёлым афинянином, своим знакомцем.

– Гей, Дамасий! Идём, идём, ты весьма кстати. А славные нынче будут гонки, ха-ха-ха! Ба! Да ведь у тебя самого колесница, и ты, верно, на Ксенарха ставишь? А? Ха-ха!

– Э, нет! На Ксенарха, нет... Ежели победит, с меня и того довольно, – отмахнулся Дамасий. – А вот когда б на Кревгу, а?

– А на твоего Ксенарха две ставки уже, почтеннейший. Твоя третья, – не расслышал знакомец.

– Да ведь я на Кревгу!

– Что?

– На Кревгу!

Вот уже все колесницы покинули стойла пускового барьера и выкатили на стартовую полосу. Лошади нетерпеливо стригли ушами и, предчувствуя скачку, наиболее горячие тянули вперёд, несмотря на усилия возниц сдерживать их. Громкими криками и ударами педотрибы заставляли лошадей спятиться и долго выстраивали всю шеренгу в одну прямую линию. Наконец, все замерли в напряжённом, томительном безмолвии в ожидании стартовой трубы.

Труба звенит!

Разом все до единой пятьдесят колесниц сорвались с места и с грохотом под дружный рёв толпы устремились вперёд. Вначале разобрать что-либо было трудно. Сбившись в кучу, плотная масса – люди, лошади, колесницы лавиной мчались по гипподрому, быстро уменьшаясь в размерах. В этой массе каждый пытался занять наиболее выгодное место на внутреннем коротком круге, оттеснить, выдавить соперников наружу. Громкие, яростные крики, возницы стрекалами подкалывали лошадей, своих и в особенности чужих. Окрестности вздрагивали от тяжёлого гула и топота сотен копыт. Вдоль оси бегового

поля протянулся невысокий каменный барьер, разделяющий дромос на две половины, и один за другим на равном расстоянии стояли три каменных столба с предупредительными надписями:

будь решителен
спеши
поворачивай.

Промелькнули столбы, и вот уже близится, нарастает поворотная мета, однако масса, слитая воедино, не в силах сдержать инерции – лошадиные морды сзади едва не ложатся на плечи впереди идущих возниц – вся эта масса пронеслась мимо меты и, словно вихрем размётанная, рассыпалась в пространстве за метой. Возницы запоздало осаживали коней и, яростно озираясь на соперников, налегали на вожжи, выворачивая на второй конец.

И только трём колесницам, волею жребия ещё на старте удачно занявшим внутренний круг, удалось обогнуть вплотную возле самой меты и прежде всего начать бег в обратную сторону. И впереди всех, подобный вихрю, мчался великолепный Менесфей, любимец богов, чей жребий как всегда оказался счастливее прочих. Все видели, все зрители, как мощно посылал он своих коней вперёд, стремясь увеличить, и как можно больше, разрыв между собой и основной массой разъярённых соперников. Ему удалось это. Он успел покрыть почти половину второго конца, когда из проворных самые проворные ещё только разгоняли свои колесницы, набирая скорость.

Свист, вой, невообразимые, поднялись над гипподромом. Симпатии всех были явно на стороне великолепного Менесфея, ибо он, в отличие от богатых людей, владеющих колесницами, не доверил её в чужие руки, а сам, положась на благосклонность богов и своё искусство в ристаньи, вышел на дромос.

Легка, стремительна рысь вороных коней Менесфея, сына Кимона. Как будто они не бегут, а летят над землёй, незаметно в одно касание отталкиваясь копытами от каменистой почвы гип-

подрома. Все их движения рассчитаны на «вперёд», и только вперёд, и если поставить на круп любого из рысаков Менесфея кратеру, до краёв наполненную вином, ни одной капли не расплещут они от меты до меты.

Ветер тугой струёй, словно рукой, упирался в широкую грудь гордого аристократа. Реяла, всхлапывая широким крылом, за спиной хламида. Менесфей на ходу обернулся и натяжкой вожжей придержал стремительный бег колесницы. Теперь, когда разрыв обеспечен, и до ближайших соперников расстояние почти в стадий, важно хранить эту дистанцию, и пусть они, его соперники, изматывают друг друга во взаимной борьбе.

Задние колесницы, рассеянные на повороте, теперь, кое-как развернувшись, группами и поодиночке устремились следом за Менесфеем. Но многих этот его рывок, словно вино, ударившее в голову, напрочь лишил разума. Яростными криками, ударами палок они нещадно погоняли своих коней и, распустив вожжи, посылали и посылали их вперёд, пытаясь сократить разрыв. Однако всё это приводило лишь к тому, что колесницы только-только получившие было свободу для тактической борьбы, вновь начали сбиваться в неповоротливую, инертную массу. Наиболее опытные из возниц давно уже поняли это, но, сделав было попытку оторваться и рассеяться по полю, вновь были настигнуты теми, кто потерял голову и что было мочи погонял теперь своих коней, выжимая всё, на что они способны, лишь бы достать Менесфея.

Масса становилась всё плотнее, и лишь некоторые из возниц, пока не поздно, пытались придержать своих лошадей, вырваться из этой кучи, иначе всё повторится, как в первый раз: колесницы опять промчатся мимо меты, потеряют в скорости, и великолепный Менесфей без труда увеличит разрыв ещё на стадий. А это в руках такого возницы, как он, уже победа. Даже и сейчас нетрудно представить этого аристократа, шагом пересекающего финиш под одобрительный хохот зрителей вви-

ду большого отрыва от соперников. О боги!

В общей лавиноподобной массе невольно притягивало взоры злое, хищное лицо Кревги. Перегибаясь всем туловищем, рискуя опрокинуться вместе с колесницей, он налево и направо подкалывал стрекалом чужих лошадей, плашмя бил возниц.

– Рассыпаться, шакалы! К-куда?! Рассыпаться всем! Заколю!

Но ни крики его, ни удары ни к чему не приводили. Придержать своих лошадей тоже невозможно, иначе лавина колесниц сзади смешает его с землёю. А между тем близился, близился поворот...

Прозвенела труба. Это значило, что первый круг пройден. Менесфей на полном ходу осадил левого пристяжного, а правого, совершенно попустив вожжи, погонял криком и ударами хлыста. Его колесница, описав ступицей крутую дугу вокруг камня, скрылась на миг в туче поднятой пыли и, стремительно развернувшись, ушла на второй круг. Впереди у него было ещё одиннадцать кругов, двадцать два поворота.

Ксенарх, быстро оглядевшись по сторонам, тотчас понял: кризис назрел. Проскочить как первый раз мимо меты – это значит потерять всякую надежду на победу. Все, у кого оставалась голова на плечах, думали сейчас об этом и только об этом. А из опыта Ксенарх давно уже знал, что такие вот ситуации разрешались единственно кровью, и сейчас, несмотря на бешеную скачку, он внимательно следил за соперниками, отыскивая источник опасности.

Краем глаза Ксенарх отметил, как из-за его спины, слева, начали быстро выдвигаться вперёд морды четырёх караковых жеребцов, и вот уже возница... Горячие, чёрные глаза, лёгкий пушок на румяных щеках, разинутый в крике рот. В том же бешеном темпе караковые жеребцы обошли Кревгу, вырвались на корпус вперёд. Оставалось где-то около пяти-шести колесниц перед ними. Вот она, эта опасность! Ксе-

нарх перехватил испепеляющий взгляд Кревги, брошенный в сторону молодого возницы, и, разом догадавшись, сильно послал своих лошадей вперёд, пристроился к Кревге с правого боку, сзади. И вовремя.

За сотню шагов до меты безбожник Кревга выровнял свою скорость со скоростью караковых жеребцов и начал выходить слегка вперёд. И уже перед самой метой его колесница рывком подалась влево, наперерез, а левая пристяжная, запрокинув голову, мощно протаранила грудь, боком каракового жеребца. Сильный удар стрекалом, звериный рёв Кревги довершили таран. Жеребец, вздыбившись, шарахнулся круто влево, и вся упряжка, разом одичалая, на полном ходу налетела на столб...

Вопль ужаса пронёсся над гипподромом.

Ксенарх вслед за Кревгой успел проскочить и возле самой меты вывернуть коней на другой конец. Что там сзади, понять было трудно. В тучах поднятой пыли вздыбившиеся кони... Ржание, крики... Мелькнуло по ту сторону каменного барьера мимо хмурое лицо Главка. Это несколько удивило Ксенарха, но раздумывать не приходилось. Следом за ним, кажется, удалось проскочить ещё одной колеснице. Так и есть... Одноногий.

То, что творилось возле меты, напоминало сущее столпотворение. Вздыбленные кони, перевёрнутые колесницы, обломки, простёртое в пыли под копытами тело. А мимо с грохотом проносились одна за другой колесницы, мелькали вперемешку со спицами лошадиные ноги. Наконец, затих вдали гул копыт, и теперь только по облаку пыли можно было определить стремительный бег удаляющейся лавины. Вслед за нею по гипподрому далеко и бесконечно долго катилось четырёхспичное колесо, словно не желая отстать, и, вихляясь, упало, обессиленное. Две лошади вскачь несли поперёк поля разбитую перевёрнутую колесницу. А с насыпей к месту столкновения

уже спешили на помощь служители и доброхоты из числа зрителей.

Толпы людей сбились возле неширокого прохода, именуемого здесь Калиткой Печали. Зрелище выглядело ужасным. Двое рабов под руки волочили с поля возницу с разбитой в кровь головой, в изодранной одежде. Тяжко повисшее на их плечах тело опоясано обрезками вожжей, поникшая, бессильно моталась голова, ноги едва переступали, а большей частью просто тащились волоком по земле. Ещё четверо рабов пронесли на шкуре другого. Мёртвое, раздавленное под колёсами тело опознать уже невозможно, так оно обезображено. С поля спешно убирали всё, что можно успеть убрать. Два мула тряской рысцой тянули за собой волоком лошадиный труп. Доброхоты крючьями растаскивали по одному, по два искореженные кузова, лопнувшие колёса, дышла. Верховые гонялись за конями, потерявшими своих возниц.

На поворотном столбе сиротливо повисли забытые в спешке обрывки упряжи, единственное, что напоминало теперь о недавнем столкновении.

И вновь мгновенно налетела, навалилась конная лавина. В уши ворвались грохот, топот копыт, тяжкий храп, гул ожесточившейся скачки. Замелькали мимо зрителей лоснящиеся от пота конские крупы, ноги, сверкающие красной медью колесницы, чернели разъявленные в яростном крике рты.

Очередной сигнал трубы оповестил, что ещё круг остался позади. Одна за другой, едва не опрокидываясь, колесницы разворачивались вокруг меты и уносились прочь. Но впереди всех по-прежнему колесница Менесфея, сына Кимона. Он словно плыл по пояс в неуспевающей оседать пыли, мелкие камни из-под копыт его коней щёлкали по стенкам и днищу кузова. Тем, кто сзади, приходилось много хуже: они глотали пыль, поднятую впереди идущей колесницей, и часто теряли представление о том, что творится на дромосе.

За Менесфеем на опасном расстоянии по-прежнему держались две колес-

ницы, волею жребия попавшие в лидеры и сумевшие сохранить за собой преимущество. Ещё дальше те, кто несмотря на опыт и бесспорное искусство в конном ристании был принуждён в жестокой борьбе отвоёвывать своё право на победу. Впереди Кревга, сзади на плечах у Кревги висел Ксенарх, и следом за ним шёл Одноногий. Остальная масса, словно отрубленная ударом исполинского меча, оказалась много сзади.

Улучив момент, Одноногий сильно послал своих коней вперёд, обошёл Ксенарха, Кревгу и, пытаясь привлечь внимание обоих, звучно хлопнул бичом. Все трое понимающе переглянулись. Одноногий сделал длинный жест рукой и с согласия соперников вышел вперёд. Остальные двое пристроились ему в хвост, сбоку. Союз был заключён. Главное теперь, сообща достать Менесфея, никаких козней друг против друга. И более того, гонка в одиночестве не то же самое, нежели когда соперники «тянут» один другого.

Поворот...

Все трое один за другим чётко вернули коней на другой конец и заметно прибавили ходу. На насыпях скоро заметили эту редкостную на дромосе согласованность действий, и, как это часто случается, симпатии зрителей целиком перешли на их сторону. А счастливчику Менесфею, любимцу богов, пусть ему аплодирует своенравный Олимп. Зрители мало ценят те победы, которые достаются по воле жребия, и людей мужественных предпочитают счастливчикам.

В возбуждённой толпе зрителей самым возбуждённым выглядел, конечно, толстый Менап. И он, и Никтим совсем было упали духом, видя, что сами боги на стороне знатного молокососа. Но теперь... Вдохновенно работая локтями, Менап протолкался в передние ряды. Плача и смеясь одновременно, то хватаясь за голову, то бия себя кулаками в грудь, он испуганно заорал:

– Достать! Достать! О боги... Достать, достать, достать Менесфея! Достать!

Расстояние между колесницами стало неукротимо сокращаться. Менесфей, разумеется, почуял погоню и, стараясь сохранить разрыв, тоже прибавил заметно ходу. Яростные вопли Менапа вскоре подхватили все вокруг и начали резко, отрывисто скандировать:

– До-стать! До-стать! До-стать!

С противоположной стороны гипподрома тоже – свистели, выли, азартно улюлюкали, словно при травле зверя.

Звучит труба... Новый круг. Менесфей круто вывернул своих коней, так что хламида трижды обернулась вокруг туловища. Не успел ветер снести пыль, как следующие две колесницы обогнули вокруг меты и унеслись на другой конец. И тотчас за ними – Ксенарх, Одноногий, Кревга.

В замыкающей группе Главк, не выдерживая, сильно послал вперёд и одного за другим начал обходить своих соперников. Толстый Менап, ликуя, пихал в толпе то одного, то другого из соседей локтем в бок и радостно похотывал.

– Пожалуй, эти загонят Менесфея, как ты думаешь? – и, не ожидая ответа, толкал другого.

Уже перед метой Одноногий, Кревга, Ксенарх настигли третью колесницу, обошли её, но и Менесфей значительно подался вперёд, по-прежнему сохраняя разрыв.

Поворот...

Менесфей удачно прошёл мету. Но вторая за ним колесница ещё в начале поворота вдруг страшно ударила ступицей о камень, и зазевавшийся возничий кувырком вылетел под копыта набегающим сзади коням. Но тотчас, словно заяц, поднятый с лёжки, он сделал длинный прыжок в сторону и избежал, казалось бы, неминуемой смерти. Его кони, потеряв управление, с опрокинутой колесницей бешено вынесли прямо на зрителей. Мгновенная паника, давка – и вся четвёрка, описав высокую дугу по отлогому склону холма, вновь вылетела на дромос, рассеивая на своём пути зрителей. Возница, лёжа на земле, горько рыдал и в бессильной ярости ногтями рвал землю.

Звук трубы. Поворот... Менесфей. Следом через некоторое время – Ксенарх, Одноногий, Кревга...

Снова поворот. Снова Менесфей... Следом Кревга, Одноногий, Ксенарх...

На насыпях перекошенные, азартные лица. Многие из зрителей плакали, простирая руки дромосу, или обнимались, ликуя. Рёв многотысячной толпы глушил напрочь грохот колесниц по каменистой почве гипподрома. Карусель продолжалась.

Взмыленные кони Менесфея, роняя обильные хлопья пены, продолжали вести гонку всё на том же расстоянии от ближайших соперников. Но, пробежав ещё некоторое время, они неожиданно для всех встали посреди дромоса и, несмотря на удары стрекалом, не двинулись с места. Коренной справа вдруг тяжело захрипел... ноги подломились, и он рухнул на колени, грузно повис в упряжи. С перекошенным злобой лицом Менесфей спрыгнул с колесницы и, выхватив из-за пояса хлыст, начал бить по глазам, храпу, пытаясь поднять коренного на ноги, с силой рвал узду. Но загнанный конь только вздрагивал и бессильно скрёб копытами землю. Остальные три, расставив дрожащие ноги, с хрипом выталкивали из себя воздух и тяжело носили боками. Это был конец.

Великолепный Менесфей, сын Кимона, усилием воли подавил злобу, и на красивом лице его выдавилась небрежная полуулыбка. Запахнувшись в хламиду, он удалился, поигрывая хлыстом и брезгливо отряхивая с себя пыль. Мимо покинутых лошадей с грохотом пронесли три колесницы... Звук трубы. Поворот. Впереди остался последний круг. Глашатаи эхом откликнулись по гипподрому:

– Последний круг! Последний круг... Следн... руг...

Как только общий соперник исчез, между колесницами немедленно была объявлена война. Но возницы хорошо знали друг друга и стерегли каждый жест, тотчас проникая в чужие намерения. Сразу после поворота Ксенарх мощно послал свою колесницу, умоляя

богов лишь о том, чтобы ни один из его коней «не потерял ногу», не сбился с рыси. Вытянувшись в струну, вся четвёрка начала быстро выдвигаться из-за спины Кревги, который оказался к этому времени впереди всех. Но и Кревга, не желая уступить лидирующее место на внутреннем круге, тоже подал вперёд, и оба возницы, из последних сил напрягая хрипящих коней, устремились к поворотной мете. Было видно, однако, что кони Ксенарха сохранили чуть больше сил к концу ристанья и неумолимо выдвигаются вперёд, капля за каплей отвоёвывают расстояние. Но выйдут ли они вперёд, успеют ли до поворота встать на внутренний круг, или же Кревга, оттеснив Ксенарха, опять развернётся первым и сведёт на нет все его усилия?

Сзади, чуть запоздав с посылом и как бы отставая, шли кони Одноногого. Ещё сзади Главк стремительно обошёл колесницу, долгое время державшуюся за Менесфеом третьей, и начал подтягиваться к ведущей тройке.

Вблизи поворотной меты Ксенарх уже на корпус оказался впереди Кревги, он сделал было отчаянную попытку поднырнуть с колесницей под морды его коней, но Кревга, слегка подавшись вправо, оттеснил его... Поворот... И обе четвёрки, хрипя, напирая одна на другую, стали выворачивать всей массой несколько в стороне от меты. И тотчас в узкий просвет между камнем и спиной Кревги втиснулся Одноногий, на полном ходу он осадил левого пристяжного, взяв его на дыбы, а правый вприценку пронёсся за спиной Кревги. Колесница Одноногого, едва не переворачиваясь, описала следом крутую дугу, ударилась боком в колесницу соперника и ушла вперёд. Сбоку за ним тотчас вывернул Кревга, и сразу за колесницей Кревги – Ксенарх.

Вероломный Кревга сразу после поворота постарался использовать своё преимущество и заступил Ксенарху дорогу. Вместе с тем он сильно послал коней и начал настигать Одноногого, чьи пилосские кони выглядели явно слабее

коней соперников. Но силы их уравнивались, ибо Кревге приходилось вилить из стороны в сторону, чтобы не выпустить из-за спины более резвую колесницу Ксенарха. Так продолжалось две трети расстояния от меты до меты, означающей конец бега, и только потом Кревга, решив, что с Ксенархом покончено, а Одноногий от него не уйдёт, криком и ударами стрекала пустил коней прямо вперёд.

Но на сей раз Кревге суждено было ошибиться. Вместо того чтобы сокращаться, расстояние между ним и его соперником начало расти. Одноногий чудом сумел сохранить небольшой запас сил у своих коней и теперь на последнем участке безжалостно выкладывал всё, на что они ещё были способны.

Звон трубы, казалось, расколол небо.

Под восторженный рёв толпы Одноногий первым закончил бег. Следом за ним голова в голову, напирая друг на друга, летели Ксенарх и Кревга. Молодой Главк миновал мету четвёртым, но, вне сомнения, это была самая быстрая колесница. Все видели, как стремительно настигал он лидирующую тройку, и многие, очень многие ждали и желали его победы.

Одноногий медленным шагом выехал на внешнюю сторону дромоса для совершения почётного круга. С насыпей в колесницу, на крупы запалённых коней со всех сторон летели цветы, венки, ленты. Плотное кольцо возбуждённых зрелищем поклонников обступили победившую колесницу. Вслед за тем трижды над гипподромом прозвучало имя победителя:

– Победил всех Меланф, сын Астея из Элиды! Возничий Превген!

Одноногий Превген из колесницы подал руку своему хозяину, помог встать рядом. Вот он, счастливый победитель, один из богатейших людей города Элиды. Выкрашенная в красный цвет острая борода и изящно уложенные один к одному тёмные локоны обрамляли породистое, крупное лицо гордого хозяина колесницы.